

Харпер Ли

XX
век
The BEST

Пойди поставь сторожа

[роман]



*Продолжение
культовой
книги XX века
«УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА...»*

Annotation

Продолжение легендарного романа Харпер Ли «Убить пересмешника...»

...Непростые тридцатые годы остались в прошлом. На смену им пришли «золотые» пятидесятые. Выросли дети, состарились взрослые. Повзрослевшая Джин-Луиза возвращается в родной город навестить больного отца. Но что ждет ее там? Как изменились те, с кем прошло ее детство?..

- [Харпер Ли](#)
 -
 - [Часть I](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [Часть II](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [Часть III](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [Часть IV](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [Часть V](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [Часть VI](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [Часть VII](#)

- [18](#)
- [19](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)



Харпер Ли
Пойди поставь сторожа

*Памяти мистера
Ли и Элис*

Harper Lee
Set a Watchman

Перевод с английского А.С. Богдановского

Печатается с разрешения автора и литературного агентства Andrew Nürnberg.

© Harper Lee, 2015

Часть I

После Атланты она стала смотреть в окно с наслаждением почти физическим. Сидя с чашкой утреннего кофе в вагоне-ресторане, следила взглядом, как остаются позади последние холмы Джорджии и наплывает красная земля, а на земле – крытые железом дома посреди чистеньких дворов, а во дворах – неизбежная вербена в кадках из старых беленых покрышек. Заулыбалась во весь рот, заметив на крыше облезлого негритянского домика первую телеантенну, и чем гуще они шли, тем радостней было на душе.

Джин-Луиза Финч домой обычно летала, но в это, уже пятое по счету ежегодное путешествие из Нью-Йорка в Мейкомб отправилась поездом. Во-первых, в прошлый раз она до смерти перепугалась: пилот выбрал путь через торнадо. Во-вторых, отцу уже семьдесят два, не годится ему вставать в три часа ночи и мчаться сто миль, чтобы встретить ее в Мобиле, тем более что потом еще целый день работать.

Она не жалела, что предпочла железную дорогу. Со времен ее детства поезда стали совсем другими, и она тешилась новыми впечатлениями: от нажатия кнопки в стене откуда ни возьмись возникал тучным джином проводник; из другой стены по ее велению выдвигалась стальная умывальная раковина, имелся стульчак с удобными подпорками для ног. Она решила не поддаваться на угрозы инструкций, развешанных в одноместном купе тут и там, за что и поплатилась: ночью, ложась спать, пренебрегла советом ПОТЯНУТЬ РЫЧАГ ВНИЗ ДО УПОРА и оказалась зажата как в капкане между полкой и стеной, так что вызволять ее пришлось проводнику – к немалому смущению пассажирки, поскольку спать она любила в одной пижамной куртке.

Он, к счастью, как раз совершал обход своих владений и в ту минуту, когда ловушка сработала, оказался возле купе.

– Сейчас-сейчас, мисс, – сказал он, услышав, как она колотит по полке.
– Нет-нет! – закричала она. – Просто объясните, как мне выбраться.
– Да я спиной стану, а вытащить вытащу, – пообещал проводник. И обещанное исполнил.

Она проснулась, когда на сортировочной в Атланте вагон прицепляли к другому составу, и, вняв еще одному предупреждению, не вставала, пока за окном не промелькнул Колледж-парк. Потом надела то, в чем собиралась ходить в Мейкомбе, – серые брючки, черную блузку без рукавов, белые

носки и белые же мокасины. И услышала, как неодобрительно фыркнула тетушка, хотя до встречи с ней было еще четыре часа езды.

К четвертой чашке кофе экспресс «Кресент Лимитед», гоготом гигантского гуся приветствуя собрата, летевшего встречным курсом на север, уже грохотал через Чаттахучи в глубь Алабамы.

Чаттахучи – река широкая и тихая. Мутная вода в ней сегодня стояла низко, и по желтой песчаной отмели не текла, а сочилась. Может, она поет зимой – было такое стихотворение, как же там? «Шел я девственной долиной»? Нет, не то. Не он ли еще писал про водоплавающих – или там было про водопад?^[1]

Она решительно подавила ехидный смешок, вдруг подумав, что этот самый Сидни Ланир, вероятно, смахивал на ее давно покойного кузена Джошуа Синглтона Сент-Клера, чьи литературные заказники простирались от Черного пояса до Байю Ла-Бэтри. Тетушка не допускала ни слова критики в его адрес, твердя, что кузен – пример и образец, гордость семьи, идеал мужчины, поэт, похищенный смертью в расцвете дарования, и Джин-Луизе не следует забывать, какая это высокая честь – быть с ним в родстве. Да и как же не гордиться, если, по фотографиям судя, кузен был копия – правда, сильно ухудшенная – Алджернона Суинберна^[2].

Джин-Луиза улыбнулась про себя, припомнив, что отец рассказывал ей и про то, чем эта история кончилась. Цветущее дарование в самом деле было пресечено безвременно – но не Божьей волей, а кесаревыми слугами.

В университете кузен Джошуа слишком усердно учился, слишком много думал и самый образ свой вычитал из романов XIX столетия. Питал пристрастие к крылаткам и к ботфортам, сшитым по его собственным рисункам. Разобидевшись на власти, он несколько раз выстрелил в ректора университета – ректору этому, по мнению Джошуа, подобало бы не университет возглавлять, а выгребные ямы чистить. Это было сущей правдой, но не служило смягчающим обстоятельством при покушении на убийство с применением огнестрельного оружия. За немалые деньги дело удалось замять – и кузен Джошуа, признанный неменяемым, переместился из исправительного учреждения штата в учреждение лечебное, где и оставался до конца дней своих. Рассказывали, что он был во всех отношениях нормален, если при нем не упоминали ректора, – но если упоминали, он, страшно перекосив лицо, часов на восемь, а то и больше по-журавлиному замирал на одной ноге, и пока не забывал про своего недруга, ни за что на свете не желал переменить позу. Когда наступало просветление, кузен Джошуа читал древних греков и писал стихи,

тоненький сборник коих напечатал за свой счет в Таскалусе. Поэзия его настолько опережала свое время, что и поныне осталась темна и туманна, однако эта книжка, как бы ненароком забытая на столе, красуется в тетушкиной гостиной на самом видном месте.

Джин-Луиза рассмеялась вслух и сейчас же оглянулась – не слышал ли кто. Досказывая дочери то, о чем умалчивала тетушка, отец всегда сводил на нет ее рацеи о безусловном, по праву рождения дарованном превосходстве любого отдельно взятого Финча над всеми прочими, и хотя говорил он сдержанно и серьезно, Джин-Луизе неизменно чудилось, что в глубине его глаз посверкивает глумливая искорка – или это всего лишь отсвечивали стекла очков? Бог весть.

Местность за окном, а с ней и поезд полого пошли под уклон, и теперь до самого горизонта виднелись только луга с черными коровами. Она спрашивала себя, почему раньше не понимала, как же тут красиво.

Станция в Монтгомери примостилась на крутой излучине Алабамы, и когда Джин-Луиза вышла на платформу размять ноги, навстречу тусклым маревом, огнями, причудливыми запахами устремилось что-то давнее и милое. Но чего-то не хватает, подумала она. Запаха перегретых букс – вот чего. Человек с ломиком идет вдоль состава. Слышится лязг, потом «ш-ш-ш-ш», вздымаются клубы белого дыма, ты словно попала в кастрюлю с подогревом. А теперь все на мазуте.

Ни с того ни с сего воскрес прежний детский страх. На этой станции она не бывала двадцать лет, с тех пор как еще девочкой ездила с Аттикусом в столицу и в ужасе ждала, что качкий состав вот-вот рухнет в реку вместе с пассажирами. Но поднявшись в вагон, Джин-Луиза об этом позабыла.

Поезд постукивал на стыках, мчась через сосновые леса, и насмешливо загудел, проносясь мимо ползшего по запасным путям ярко-пестрого музейного экспоната с трубой-воронкой на крыше и эмблемой деревообрабатывающей компании на боку. Экспресс «Кресент Лимитед» мог бы проглотить его целиком, и еще бы место осталось. Гринвилл – Эвергрин – Мейкомб-Узловая.

Джин-Луиза заранее предупредила кондуктора, чтобы не забыл выпустить ее, а поскольку он был сильно немолод, угадала, что в Мейкомбе он замашет флажком, как свихнувшаяся летучая мышь крыльями, остановит поезд на четверть мили дальше полустанка, а на прощанье скажет: виноват, мисс, чуть не прозевал. Поезда меняются, а кондукторы – нет. Подшучивать над юными леди на остановках по требованию – профессиональная черта, и Аттикус, который может предсказать поведение любого кондуктора от Нового Орлеана до Цинциннати, встречая дочь,

ошибется шагов на шесть, не больше.

Она была дома, в перекроенном под выборы округе Мейкомб, в длину миль семьдесят, в самой широкой части – около тридцати, в пустоши, усеянной крошечными поселками, самым крупным из которых и был собственно Мейкомб, центр округа. Еще относительно недавно он был так отрезан от остальной страны, что иные жители, не ведая, какие политические пристрастия оформились за последние девяносто лет на Юге, продолжали голосовать за республиканцев. Поезда здесь не ходили – станция Мейкомб-Узловая, называемая так из чистой любезности, относилась к округу Эббот, в двадцати милях отсюда. Автобусы курсировали от случая к случаю и как Бог на душу положит, но федеральное правительство все же пробило через болота пару скоростных автострад, чтобы граждане в случае чего могли эвакуироваться. Впрочем, пользовались дорогами немногие, да и на что они сдались? Кому много не надо, у того всего вдоволь.

Округ и город носили имя полковника Мейсона Мейкомба, редкостной своей самонадеянностью и безудержным своеволием вносившего смуту и разброд в души всех, кто ходил с ним на индейцев-маскоги. Театр его военных действий на севере был слегка холмист, на юге – ровен как стол. Полковник, убежденный, что индейцы не любят сражаться на равнине, в поисках противника шерстил северную оконечность этих краев. Генерал обнаружил, что покуда Мейкомб без толку рыщет по холмам, в каждом сосняке на юге полно притаившихся индейцев, и послал полковнику курьера – индейца из дружественного племени – с приказом следующего содержания: «Поворачивай к югу, так тебя и так». Но Мейкомб, пребывая в уверенности, что это хитрый трюк индейцев, заманивающих его в ловушку (причем во главе их стоит какой-то голубоглазый и рыжеволосый дьявол), дружественного маскоги взял в плен и пошел дальше на север, пока не завел все свое войско в безнадежные дебри, где оно и досидело в немалой растерянности до окончания боевых действий.

Когда минули годы и даже полковник Мейкомб убедился, что депеша все-таки не была подложной, он целеустремленно начал марш на юг, а по дороге повстречал двигавшихся вглубь страны колонистов, которые и сообщили ему, что война с индейцами вроде бы как кончается. Солдаты Мейкомба и колонистки прониклись друг к другу такими теплыми чувствами, что стали предками Джин-Луизы Финч, а полковник, чтобы его деяния уж точно не позабылись, поспешил туда, где потом возник Мобил. Да, история писаная не совпадает с истинной, но таковы факты, многие годы передаваемые из уст в уста и потому известные каждому жителю

Мейкомба.

– ...ваш багаж, мисс, – сказал проводник.

Джин-Луиза шла за ним из салон-вагона к своему купе. Достала из бумажника два доллара: один – на обычные чаевые, второй – за вызволение прошлой ночью. Разогнавшийся поезд, конечно, свихнувшейся летучей мышью пролетел станцию и остановился в 440 ярдах впереди. Появился кондуктор, ухмыльнулся – виноват, мол, чуть не прозевал. На его ухмылку Джин-Луиза отвечала своей и нетерпеливо подождала, когда проводник опустит желтую ступеньку. Он помог ей сойти и получил две бумажки.

Отец ее не встречал.

Она повела глазами вдоль путей и на маленьком перроне увидела долговязого человека. Вот он спрыгнул и побежал ей навстречу.

Стиснул медвежьей хваткой, потом немного отодвинул от себя, поцеловал в губы крепко, а вслед за тем – нежно.

– Не здесь, Хэнк, – шепнула она, очень довольная.

– Цыц, девчонка! – сказал он, не давая ей отстраниться. – Захочу – поцелую даже у дверей суда.

Того, кто обладал правом целовать ее даже у дверей суда, звали Генри Клинтон: друг детства, закадычный приятель брата и – если подобные поцелуи продолжатся – будущий муж. Люби кого хочешь, но замуж выходи за своего – эту заповедь она воспринимала инстинктивно. Генри Клинтон был свой, и сейчас сентенция не пугала Джин-Луизу чрезмерной суровостью.

Под руку они направились вдоль путей за ее чемоданом.

– Как там Аттикус? – спросила она.

– Сильно корежит сегодня. Руки... плечи...

– Даже за руль не сесть?

Генри слегка скрючил пальцы:

– Дальше свести не может. Когда с ним такое, мисс Александра шнурует ему башмаки и застегивает рубашку. Ему и не побриться даже самому.

Джин-Луиза покачала головой. Она прожила на свете достаточно, чтобы не сетовать на несправедливость судьбы, но слишком мало, чтобы безропотно смириться с деформирующим артритом у отца.

– Неужели с этим ничего нельзя сделать?

– Нельзя, сама же понимаешь, – сказал Генри. – Принимает по семьдесят гран аспирина в день – вот и все лечение.

Он поднял тяжелый чемодан, и они пошли к машине. Джин-Луиза думала, как бы она себя вела, если б изо дня в день что-то болело. Уж

наверно, не так, как Аттикус: спросишь, как он себя чувствует, – ответит, но жалобы не услышишь; характер у него остался прежний, а потому хочешь узнать, как он себя чувствует, – спроси.

Генри и сам узнал случайно. Однажды в судебном архиве, где они искали какие-то купчие или закладные, Аттикус снял с полки тяжелый том документов, вдруг побелел и выронил его. «Что с вами?» – спросил Генри. «Ревматоидный артрит. Подними, будь добр», – ответил Аттикус. Генри спросил, давно ли; Аттикус сказал, что с полгода. А Джин-Луиза знает? Нет пока. Так надо бы ей сказать. «Если скажешь, она примчится и начнет кормить меня с ложечки. Тут одно лечение – не поддаваться». Тем дело и кончилось.

– Хочешь за руль? – спросил Генри.

– Еще чего, – ответила Джин-Луиза. Она недурно водила автомобиль, но терпеть не могла любые механические устройства сложнее английской булавки: от необходимости разложить шезлонг впадала в тяжелое бешенство, так и не научилась ездить на велосипеде или печатать на машинке, а рыбу ловила обычной удочкой. И любила гольф – за то, что там ничего не нужно, кроме клюшки, мячика и настроя.

С лютой завистью смотрела она, как легко Генри управляется с машиной, и думала, что техника рабски ему покорна. Потом спросила:

– Гидроусилитель? Коробка-автомат?

– И никак иначе.

– Ты лучше скажи, что будешь делать, если заклинит коробку передач? На буксире поедешь? Плохо будет твое дело, а?

– Не заклинит.

– Откуда ты знаешь?

– Я не знаю, я верую. Сядь поближе.

Святая вера в могущество «Дженерал Моторе». Джин-Луиза придвинулась и положила голову Генри на плечо. И спросила:

– Хэнк, а все же... что там на самом деле было?

Это была их старая шутка. У Генри из-под правого глаза к крылу носа и наискось через верхнюю губу тянулся розовый шрам. Шесть передних зубов были вставные, и даже Джин-Луиза не могла упросить его, чтоб вытащил и показал. Он таким вернулся с фронта. Какой-то немец – в основном с досады, что война кончается так, а не иначе, – врезал ему прикладом по лицу. Джин-Луиза предпочитала думать, что это выдумка: когда есть орудия, бьющие за горизонт, бомбардировщики В-17, «фау» и прочее, Генри вряд ли сблизался с немцами на дистанцию плевка.

– Ладно, – ответил он. – Тебе одной скажу: мы сидели в Берлине, в

винном погребке. Все сильно перебрали, ну и сцепились – ты ведь хочешь, чтоб выглядело правдоподобно? Ну, теперь выйдешь за меня?

– Пока нет.

– Почему?

– Хочу быть как доктор Швейцер^[3] и играть до тридцати.

– Да уж, он играл будь здоров, – сказал Генри жестко.

Джин-Луиза поерзала под его рукой.

– Ты ведь понимаешь.

– Понимаю.

Среди молодых людей Мейкомба Генри Клинтон считался фаворитом. И Джин-Луиза не спорила. Родом он был с юга округа. Отец ушел из семьи вскоре после его рождения, мать день и ночь пласталась в своей лавке на перекрестке, чтобы Генри окончил городскую школу. Лет с двенадцати он снимал себе жилье напротив Финчей, и одно это возносило его над остальными: сам себе хозяин, никто ему не указ – ни повара, ни садовники, ни родители. Кроме того, он был на четыре года старше – разница в таком возрасте значительная. Он ее дразнил, она его обожала. Когда ему было четырнадцать, мать умерла, почти ничего ему не оставив. Аттикус Финч распоряжался невеликими деньгами, вырученными от продажи ее лавки, – большая часть ушла на похороны, – тайком поддерживал деньгами собственными и после школы устроил Генри продавцом в супермаркет «Джитни Джангл». Генри доучился, ушел в армию, а после войны поступил в юридический колледж.

Примерно тогда же умер брат Джин-Луизы, а когда отступил кошмар, Аттикус, думавший передать дела сыну, принялся искать среди местных молодых людей достойного преемника. Вполне естественно выбор пал на Генри, ставшего для Аттикуса и глазами, и руками, и ногами. И уважение Генри к Аттикусу вскоре переросло в душевную сыновнюю привязанность.

А вот к Джин-Луизе чувства его были не вполне братские. Пока он воевал и слушал лекции, она из своевольной девчонки в комбинезоне и с ружьем превратилась во что-то мало-мальски похожее на человека. Хотя носилась она по-прежнему как тринадцатилетний сорванец и терпеть не могла прихорашиваться и наряжаться, от нее исходил мощный ток женственности – Генри вскоре влюбился, но на ухаживанья у него были лишь те две недели, что она ежегодно проводила дома. Она была и легкомысленна, и легка на подъем, но сказать, что с ней было легко, значило бы сильно погрешить против истины. Неугомонная переменчивость ее натуры и озадачивала, и беспокоила его, но одно он знал твердо: Джин-Луиза – то, что ему надо. Он не даст ее в обиду, он возьмет ее

в жены.

– Не надоело тебе в Нью-Йорке? – спросил он.

– Нет.

– Дай мне свободу действий на эти две недели, и я сделаю так, что возвращаться не захочешь.

– Следует ли понимать это как непристойное предложение?

– Только так и следует.

– Тогда иди к черту.

Генри затормозил. Выключил зажигание, повернулся к ней вполоборота. Она знала, что когда он чем-то задет всерьез, его короткий ежик сердито щетинится, лицо наливается кровью, а шрам темнеет.

– Девочка моя, ты, что ли, хочешь, чтобы было по всей форме? Мисс Джин-Луиза, спешу уведомить вас, что мое нынешнее имущественное положение позволяет мне содержать семью. Ради тебя я, как ветхозаветный Израиль, семь лет корячился на виноградниках университета и на пастбищах твоего отца...

– Попрошу Аттикуса прибавить еще семь.

– Сколько же злобы в этой девушке...

– И звали его, между прочим, Иаков, – сказала она. – Ой, нет, вру, это же он и есть. Там на каждом третьем стихе меняются имена. Как, кстати, тетушка поживает?

– Сама прекрасно знаешь, что вот уж тридцать лет – лучше всех. Не увиливай.

Джин-Луиза шевельнула бровями.

– Генри, – чопорно сказала она. – Может, у нас с тобой что и будет, но замуж за тебя я не выйду.

И это заявление полностью соответствовало действительности.

– Когда же ты наконец повзрослеешь, Джин-Луиза! – взорвался Генри и, позабыв последние усовершенствования «Дженерал Моторе», попытался выжать сцепление и на шарить рычаг коробки передач. Не обнаружив ни того, ни другого, яростно крутанул ключ зажигания, ткнул в какие-то кнопки, и большая машина неспешно и плавно двинулась по шоссе.

– Туго соображает, да? – сказала Джин-Луиза. – Для большого города это не очень.

Генри глянул на нее пристально:

– В смысле?

Еще секунда – и они разругаются. Генри настроен серьезно. Надо его взбесить – он тогда замолчит, а она сможет подумать.

– Откуда у тебя этот жуткий галстук? – спросила она.

Итак.

Я его почти люблю. Нет, так не бывает: или ты любишь, или не любишь. В этом мире одну только любовь ни с чем не спутаешь. Разумеется, она бывает разная, но всегда – либо она есть, либо ее нет.

Джин-Луиза была из тех, кто, обнаружив простой путь, непременно выбирает сложный. Простой путь – обвенчаться с Хэнком и сесть ему на шею. Но пройдет несколько лет, подрастут дети – и тут появится человек, за которого надо было выйти. Тогда и начнутся кружение сердца, метания, терзания, долгие переглядывания на ступеньках почтамта – и все будут несчастны. Что останется за вычетом высоких чувств и семейных сцен? Пошлая интрижка, нестерпимо провинциальный адюльтер и собственными руками выстроенный персональный ад, оборудованный новейшей бытовой техникой производства «Вестингауз». Хэнк этого не заслуживает.

Нет. Пока что она не свернет с каменистой стародевьяей стези. А сейчас заключим мир на почетных условиях:

– Милый, ну, прости, прости, пожалуйста. Я напрасно это сказала, – сказала она. И ведь не возражишь: и впрямь напрасно.

– Да нормально все, – ответил Генри Клинтон и потрепал ее по коленке. – Просто иногда я убить тебя готов.

– Я вредная, я знаю.

Генри взглянул на нее:

– Ты у нас с чудинкой. И прикидываться не умеешь.

Она перехватила его взгляд:

– Ты про что?

– Ну, обычно женщины, пока своего не заполучат, сияют улыбками и со всем соглашаются. Мысли свои прячут. А ты – другое дело: если вредничаешь, то уж на всю катушку.

– Но ведь лучше, когда мужчина сразу видит, во что ввязывается?

– Да, но так ты мужа себе не найдешь.

Ответ напрашивался сам собой, но Джин-Луиза успела прикусить язык.

– И как же мне себя вести, чтоб всех очаровывать?

Генри почувствовал себя в родной стихии. К своим тридцати он полюбил давать советы – вероятно, потому что был юристом.

– Прежде всего, – начал он бесстрастно, – держи язык за зубами. Не спорь с мужчиной, особенно если знаешь, что побьешь его в споре. Побольше улыбайся. Покажи ему, какой он значительный. Говори, какой он замечательный, и всячески его обхаживай.

Джин-Луиза ослепительно улыбнулась и сказала:

– Хэнк, я согласна с каждым твоим словом. Я давно не встречала мужчину, наделенного такой редкостной проницательностью, да еще чтоб ростом был шесть футов пять дюймов, позволь дать тебе огоньку? Ну как?

– Ужас.

Мир был восстановлен.

Аттикус Финч поддернул левый обшлаг, потом осторожно опустил. Без двадцати два. Иногда – вот и сегодня тоже – он носил две пары часов: карманные с цепочкой, о которую прорезывали зубы его дети, и на запястье. Одни – по старой привычке, другие – чтобы узнавать время, когда скрюченные пальцы не лезли в жилетный карман. Покуда возраст и артрит не ужали его до средних размеров, Аттикус был крупный мужчина. Месяц назад ему исполнилось семьдесят два, но Джин-Луизе всегда казалось, что он застрял где-то в категории «за пятьдесят» – и молодым она его не помнила, и стареть он вроде бы не старел.

Перед его креслом стоял металлический нотный пюпитр, а на пюпитре – «Странное дело Элджера Хисса»^[4]. Аттикус немного подался вперед, чтоб удобнее было негодовать. Человек посторонний не заметил бы его досады, поскольку Аттикус вообще редко ее обнаруживал, но близкий, увидев вздернутые брови и поджатые в ниточку губы, ожидал бы в скором времени услышать скептическое «гм».

– Гм, – сказал Аттикус.

– Что ты, милый? – откликнулась его сестра.

– Не постигаю, как у этого британца хватает дерзости излагать свое мнение по делу Хисса. С тем же успехом Фенимор Купер мог бы взяться за «Романы Уэверли»^[5].

– Почему, милый?

– Потому что автор с детским простодушием верит в неподкупность государственных служащих и полагает, что наш Конгресс – то же самое, что их аристократия. Вообще не понимает, что такое американская политическая жизнь.

Сестра всмотрелась в буквы на суперобложке:

– Автора не знаю, – произнесла она, тем самым прокляв книгу навеки. – Не огорчайся. Им пора бы уж приехать, а?

– Да я и не огорчаюсь, Сандра. – Аттикус поглядел на сестру, забавляясь. Невыносима, но не сравнить с тем, что творилось здесь, когда Джин-Луиза торчала дома и страдала. Страдая, она места себе не находила, Аттикус же любил, когда его женщины умиротворенны, а не беспрестанно вытряхивают переполненные пепельницы.

Он услышал, как подъехала машина, как поочередно хлопнули сперва ее дверцы, а потом – входная дверь. Ногами осторожно отодвинул пюпитр,

предпринял безуспешную попытку выбраться из глубокого кресла, не опираясь на подлокотники, со второго раза преуспел и только выпрямился, как Джин-Луиза повисла у него на шее. Он вытерпел ее объятие и постарался не сплеховать в ответ.

– Аттикус... – сказала она.

– Хэнк, будь добр, отнеси ее чемодан в спальню, – сказал Аттикус поверх ее плеча. – Спасибо, что встретил.

Джин-Луиза чмокнула тетушку мимо щеки, достала из сумки сигареты, швырнула на диван.

– Как твой ревматизм, тетя?

– Лучше, дитя мое.

– А у тебя, Аттикус?

– Лучше, дитя мое. Как добралась?

– Лучше не бывает, сэр! – и плюхнулась на диван сама.

Хэнк вернулся, сказал:

– Подвинься-ка, – и уселся рядом.

Джин-Луиза зевнула и потянулась:

– Что у вас здесь слышно? Все, что знаю, вычитано между строк в «Мейкомб трибюн». Вы же оба ничего никогда не пишете толком.

– Ты видела извещение, что умер сын кузена Эдгара? – спросила тетушка. – Такая печаль...

Джин-Луиза заметила, как отец и Генри Клинтон переглянулись.

– Вернулся разгоряченный с тренировки, опустошил морозилку в общежитии Каппа Альфа, – пояснил Аттикус. – Потом закусил десятком бананов и запил это все пинтой виски. Через час его не стало. Так что вовсе не печально.

– Ничего себе! – отозвалась на это Джин-Луиза.

– Аттикус! – сказала тетушка. – Как ты можешь! Это же мальчик кузена Эдгара!

– В самом деле ужасно, мисс Александра, – сказал Генри.

– Кузен Эдгар все еще за тобой ухаживает, тетя? – спросила Джин-Луиза. – Глядишь, все же посватается – через одиннадцать-то лет.

Аттикус предостерегающе вскинул брови. Он видел, как бес вселяется в Джин-Луизу, подчиняет ее себе: брови у нее вздернулись, глаза в тяжелых веках округлились, и уголок рта опасно приподнялся. Когда у нее такое лицо, одному Богу да Роберту Браунингу известно, что за фортель она выкинет.

– Что ты такое говоришь?! – возмутилась тетушка. – Эдгар – наш с Аттикусом двоюродный брат.

– На данном этапе это вряд ли имеет значение.

– Ну, как тебе там живется? – поспешно спросил Аттикус.

– Сейчас я желаю знать, как живется здесь. От вас обоих новостей не дождешься. Тетя Сандра, я надеюсь на тебя – за пятнадцать минут дай мне полный отчет обо всем, что случилось за год. – Она похлопала Генри по руке – главным образом для того, чтоб не завел с Аттикусом деловой разговор. Но Генри воспринял это как знак приязни и ответил тем же.

– Ну-у... – начала тетушка. – Ну, про Мерриуэзеров ты наверняка слышала. Очень грустная история.

– Что с ними стряслось?

– Расстались.

– Да ты что?! – вскричала Джин-Луиза с неподдельным изумлением. – Неужто разошлись?

– Разошлись, – кивнула тетушка.

Джин-Луиза обернулась к отцу:

– Быть не может! Мерриуэзеры! Сколько же они прожили вместе? Аттикус, припоминая, возвел взор к потолку. Он любил точность.

– Сорок два года. Я был у них на свадьбе.

– Мы почуяли неладное, когда в церкви они расселись в разных концах... – сказала тетушка.

– И смотрели друг на друга с ненавистью, – сказал Генри.

– А потом объявились у меня в конторе и попросили начать бракоразводный процесс, – сказал Аттикус.

– А ты что? – спросила Джин-Луиза.

– А что я? Начал.

– А мотив какой?

– Супружеская измена.

Джин-Луиза ошеломленно покачала головой. Боже всемогущий, подумала она, не иначе дело в местной воде...

Голос тетушки отвлек ее от этих размышлений:

– Джин-Луиза, ты и в поезде ехала В Таким Виде?

Захваченная врасплох, она не сразу сообразила, что Александра Имеет В Виду.

– А-а, ты вот о чем... погоди, дай вспомнить... Из Нью-Йорка выехала в чулках, перчатках и туфлях. Переделалась после Атланты.

Тетушка фыркнула:

– Все-таки было бы хорошо здесь одеваться приличней. Не ходить распустехой. А то в городе о тебе превратное мнение. Думают, ты – э-э... из трущоб.

Джин-Луизу слегка замутило. Столетняя война, перемежаемая шаткими перемириями, длилась приблизительно двадцать шестой год, и конца ей не предвиделось.

– Тетя, – сказала Джин-Луиза. – Я приехала всего на две недели и собираюсь просто-напросто тихо и мирно сидеть дома. И очень сомневаюсь, что вообще хоть раз выйду за порог. Я целый год напрягала мозги...

Поднялась и отошла к камину, с неприязнью поглядела на решетку, обернулась:

– Не создастся одно мнение – создастся другое. Ей-богу, здесь не привыкли, что я хожу расфуфыренная. – И добавила терпеливо: – Ты рассуди сама: если я выряджусь как на бал, они скажут – ишь ты, совсем нью-йоркская штучка стала. Теперь ты говоришь, что они подумают, будто мне плевать, что они подумают, если я хожу в штанах. Господи ты боже мой, да весь Мейкомб знает, что я вообще носила комбинезон на голое тело, пока у меня не начались эти дела...

Аттикус позабыл про свой артрит. Наклонился завязать отлично завязанные шнурки, а когда выпрямился, покрасневшее лицо было бесстрастно.

– Ну хватит, Глазастик, – сказал он. – Попроси у тетушки прощенья. Не успела приехать – уже дерзишь.

Джин-Луиза улыбнулась ему. Каждый раз, когда отец хотел выразить ей порицание, он вспоминал ее детское прозвище. И со вздохом сказала:

– Извини, тетя Сандра. Извини, Хэнк. Я просто извелась в дороге, Аттикус.

– Извелась не извелась, а все же веди себя прилично. Тут тебе не Нью-Йорк.

Тетушка Александра поднялась и погасила волны, которыми от этого движения пошли планки корсета.

– Тебя хоть кормили в поезде?

– Кормили, – соврала она.

– Тогда, может, кофе выпьешь?

– С удовольствием.

– Хэнк, а ты?

– Спасибо, мэм.

Тетушка вышла, Аттикусу кофе не предложив.

– Так и не пристрастился? – спросила Джин-Луиза.

– Нет.

– А виски?

- Не пью.
- ...не курю, женщинами не увлекаюсь?
- Примерно так.
- И не скучно тебе?
- Справляюсь.

Джин-Луиза изобразила замах клюшкой для гольфа:

- А с этим как?
- Тебя не касается.
- Клюшку-то удержишь?
- Да.
- Раньше ты играл прилично для слепца.
- Я никакой не... – сказал на это Аттикус.
- ...если не считать, что ты не видишь.
- Не затруднит ли вас подкрепить свое утверждение доказательствами?
- Разумеется, сэр. Завтра в три вас устроит?
- Устроит... А-а, нет. У меня встреча. В понедельник? Хэнк, что там у

нас в понедельник после обеда?

– Ничего, кроме этой закладной. В тринадцать ноль-ноль, больше часа не займет.

– Ну вот, я к вашим услугам, мисс. На тебя посмотреть – слепые будут поводьями слепцов.

У камина Джин-Луиза обнаружила старую почерневшую клюшку с деревянной рукоятью, давно уже по совместительству исполнявшую обязанности кочерги. Потом выгребла из старинной плевательницы мячи для гольфа, положила ее на бок, выкатила мячи на середину гостиной, а когда начала загонять их обратно, в гостиной с кофейником, чашками, блюдами и кексом на подносе появилась тетушка.

– Ты, твой отец и твой брат превратили этот ковер Бог знает во что, – сказала она. – Хэнк, когда я решила привести дом хотя бы в относительный порядок, первым делом выкрасила ковер в самый темный цвет. Ты ведь помнишь, на что он был похож? Черную дорожку отсюда до камина ничем было не вывести...

– Еще бы не помнить, мэм, – ответил Хэнк. – Боюсь, и я приложил к этому руку.

Джин-Луиза поставила клюшку на место, рядом с каминными щипцами, и побросала мячи в плевательницу. Потом села на диван, покуда Хэнк собирал по углам беглецов. Часами могу смотреть, как он двигается, подумала она.

Хэнк подсел к столу, с пугающей стремительностью осушил чашку

обжигающего черного кофе и сказал:

– Мистер Финч, мне, пожалуй, пора.

– погоди, вместе пойдем, – ответил Аттикус.

– Намереваетесь выйти из дому, сэр?

– Непременно. Скажи-ка мне, Джин-Луиза, – спросил он неожиданно, – а о том, что у нас происходит, пишут в ваших газетах?

– Про политику? Ну, каждый раз, как губернатор наглеет и вляпывается, таблоиды поднимают вой. Не более того.

– Нет, про судьбоносное решение Верховного суда.

– А, ты об этом. Ну, если верить «Пост», мы тут, пока не линчуем кого-нибудь, не заснем спокойно, «Джорнал» это вообще не интересуется, а «Таймс» до того погружена в думы о вечном, что читать ее скучно до одури. Я вообще ни во что не вникала, кроме бойкота автобусов^[6] и этого дела в Миссисипи. То, что штат не добился обвинительного приговора,^[7] – самый крупный наш провал после атаки Пикетта^[8].

– Это правда. Газеты, надо полагать, оттоптались от души?

– Как с цепи сорвались.

– А что Ассоциация?^[9]

– Про них я ничего не знаю, кроме того, что там у них какой-то полоумный клерк в прошлом году отправил мне серию рождественских марок. Я их лепила на все открыточки. Кузен Эдгар получил?

– Ну как же! Получил и выдвинул ряд предложений касательно того, что именно я должен с тобой сделать, – широко улыбнулся Аттикус.

– Например?

– Например, отправиться в Нью-Йорк и надрать тебе уши. Кузен Эдгар вообще тебя не одобряет. Считает, ты чересчур независима.

– Старый надутый сомище. У него всегда было плоховато с юмором. Ну ведь натуральный сом: и эти усищи с бакенбардами, и пасть. Небось считает: в Нью-Йорке жить – во грехе закоснеть. Ipso facto^[10].

– По сути дела, да. – Аттикус выбрался из кресла и дал знак Генри.

Тот обернулся к Джин-Луизе:

– В семь тридцать, как договорились?

Она кивнула, потом искоса взглянула на тетушку:

– Я пойду в брюках, ладно?

– Нет, не ладно.

– Дай тебе бог здоровья, Хэнк, – сказала Александра.

Несомненно, Александра Финч Хенкок производила внушительное впечатление в любом ракурсе и с тыла была столь же монументальна, сколь и с фасадной части. Джин-Луиза часто гадала (но вслух не спрашивала), откуда тетушка добывает свои корсеты. Они возносили ее бюст на головокружительную высоту, сужали талию, плавным раструбом расширяли бедра и намекали, что в другой жизни тетушка Александра была песочными часами.

Никому из родственников не удавалось так блистательно доводить Джин-Луизу до белого каления, как сестре ее отца. И нельзя сказать, что тетушка относилась к ней слишком уж сурово – она вообще была добра ко всякой земной твари, помимо кроликов, которых травила, чтоб не смели объедать ее азалии, – но умела превратить жизнь племянницы в сущий ад, находя для этого и время, и место, и повод, и способ. Теперь, когда Джин-Луиза выросла, спустя пятнадцать минут любого разговора обнаруживалось, что на все на свете взгляды у нее с тетушкой совершенно противоположные – дружба от этого крепнет, а вот между близкой родней воцаряется лишь нестойкая взаимная любезность. Много было в тетушке такого, что на расстоянии в полконтинента втайне восхищало Джин-Луизу, но коробило вблизи и бесследно сходило на нет при первой же попытке постичь тетушкины резоны. Ибо мисс Александра принадлежала к числу тех, кто проживает жизнь, не расходуя себя: если бы на этом свете выписывали счета за чувства и привязанности, полагала Джин-Луиза, у стойки регистрации в царствии небесном тетушка задержалась бы и потребовала компенсацию.

Если тридцать три года брака и оставили на ней хоть какой-то отпечаток, Александра умело его скрывала. Она произвела на свет сына, который получил имя Фрэнсис, был, по мнению Джин-Луизы, конь конем что наружностью, что манерами и давно покинул Мейкомб, устремясь к сияющим высям страхового бизнеса в Бирмингеме. Как оказалось, все к лучшему.

Замужем тетушка была (и формально оставалась) за Джеймсом Хенкоком, человеком рослым и покладистым: шесть дней кряду он сидел на своем складе хлопка, а в день седьмой отправлялся на рыбалку. Пятнадцать лет назад в одно прекрасное воскресенье из рыбацкого лагеря на реке Тенсо пришел негритенок и передал на словах – мистер Хенкок,

дескать, домой не вернется: решил остаться там. Удостоверившись, что другая женщина тут не замешана, тетушка отнеслась к случившемуся с полным безразличием. Фрэнсис счел, что этот крест ему предназначено нести в одиночку, и никак не мог понять, почему Аттикус, хоть и не видится с зятем, но все же поддерживает с ним – пусть и на расстоянии – прекрасные отношения (а не Сделает Что-Нибудь) и почему мать не убита горем от отцовской сумасбродной и по сему непростительной выходки. Когда до дядюшки Джимми дошли слухи о сыновнем недовольстве, он опять прислал из своих чащоб гонца с сообщением: мол, если Фрэнсис желает его застрелить, он охотно с ним встретится, а когда Фрэнсис желания не изъявил, пришла и третья депеша такого содержания: «Веди себя как мужчина или заткнись».

Совершенное дядей Джимми клятвопреступление и легчайшим облачком не омрачило безмятежную ясность тетушкиного горизонта: ее угощения в миссионерском обществе по-прежнему были лучшими в городе, еще более бурной стала ее деятельность в трех городских клубах, а когда Аттикус сумел вытянуть из дядюшки некоторую сумму, еще богаче – ее коллекция молочного стекла; короче говоря, Александра презрела мужчин и в их отсутствие жила себе не тужила. И потому даже не заметила, что во Фрэнсисе развились дремавшие до поры чудачества, а выражаясь иначе – приметы малого с мозгами набекрень, и только неустанно радовалась, что сын теперь в Бирмингеме, больше не угнетает ее тиранической преданностью и она, стало быть, не обязана принуждать себя к взаимности, проявить которую так вот за здорово живешь была неспособна.

Для всех слоев и сословий, что имелись в округе и участвовали в его жизни, тетушка Александра была последней могоканшей, хранительницей заветов: у нее были изысканно-старомодные манеры барышни из хорошей семьи; готовность подпереть любые моральные устои при малейшем на них покушении; склонность к осуждению ближнего своего и неисцелимая страсть к сплетням.

В ту пору, когда она училась в школе, понятие «сомнений» в учебниках не встречалось, поэтому она не ведала, что это такое, и при первой же возможности неустанно пользовалась исключительными правами, положенными ей по рангу, – устраивать, советовать, предупреждать, предостерегать.

И понятия не имела, что одним неосторожным словом могла повергнуть Джин-Луизу в смятение, заставить племянницу усомниться в истинных мотивах ее поступков и наилучших намерений, подкручивая

протестантские, мещанские колки, пока цитрой не зазвенят под пальцами струны совести. Знай тетушка, какие раны ей удастся наносить, она с полным правом подвесила бы к поясу еще один скальп, но Джин-Луиза после многих лет тактических занятий в совершенстве изучила противника. Она уже умела давать отпор, но пока не научилась исцелять нанесенные раны.

Последняя стычка произошла, когда умер брат. После похорон они на кухне убирали остатки погребального пиршества, без которого в Мейкомбе на тот свет не провожают. Кэлпурния, старая кухарка Финчей, была в отъезде и, узнав о смерти Джима, не вернулась. А тетушкин натиск в тот вечер был достоин Ганнибала:

– Я все-таки считаю, Джин-Луиза, что тебе пора вернуться насовсем. Сейчас самое время. Ты очень нужна отцу.

Джин-Луиза во всеоружии долгого опыта оцетинилась моментально. Врешь, подумала она. Если бы Аттикус нуждался во мне, я бы знала. А объяснить, как бы я узнала, не могу, потому что к тебе не пробиться.

– Нужна? – переспросила она.

– Да, дитя мое. Нужна. Ты сама, без сомнения, это понимаешь. Я могла бы ничего тебе не говорить.

Говорить мне. Решать за меня. Шлепать своими разношенными туфлями там, куда хода нет никому, кроме нас двоих. У нас с отцом и речи об этом не заходило.

– Тетя, если я нужна Аттикусу, я, конечно, останусь. Но вот прямо сейчас я ему нужна как дырка в голове. Вдвоем в этом доме нам обоим будет только хуже. Он это знает. Я это знаю. И как ты не понимаешь, что если мы не заживем, как жили, пока это все не случилось, нам труднее будет прийти в себя. Не знаю, как тебе втолковать, но уверяю тебя, мой долг перед Аттикусом – делать то, что делаю, и все: жить и устраивать свою жизнь. Аттикусу я понадобится, только если он начнет прихварывать, и тебе прекрасно известно, как я поступлю тогда. Неужели сама не понимаешь?

Нет, она не понимала. Тетушка Александра глядела на мир глазами Мейкомба, а Мейкомб ожидал от всякой дочери исполнения дочернего долга. И ясно, что должна сделать единственная дочь для вдового отца, только что потерявшего единственного сына, – вернуться и зажить одним домом с Аттикусом; вот как поступает дочь, а если не поступает, значит, она не дочь.

– ...ты могла бы поступить на службу в банк, а на уик-энды ездить к морю. В Мейкомбе сейчас собралось приятное общество, много новых

молодых людей. Ты ведь, кажется, любишь рисовать?

Любишь рисовать. Интересно, как, по мнению тетушки, она проводит вечера в Нью-Йорке? Примерно как кузен Эдгар в Мейкомбе? Каждый вечер в восемь собирается Лига любителей искусств: юные леди делают наброски, рисуют акварелью, пишут прозу. Для мисс Александры художники и писатели разительно отличаются от тех, кто увлекается живописью или сочинительством, – разительно и неприятно.

– ...на побережье столько красивых мест, а по субботам и воскресеньям мы бы тебя отпускали.

О-о, черт. Как она умеет подгадать, когда я не в себе, и развернуть предо мной мои лучезарные дали. Ни малейшего представления о том, что творится в голове у родного брата, у меня в голове – у кого угодно в голове. Господи Боже, отчего лишил ты нас дара что-либо втолковать тетушке Александре?

– Знаешь, очень просто объяснять человеку, что ему надо делать...

– Но очень трудно его заставить. Едва ли не все беды в нашем мире происходят от того, что люди не делают, что им говорят.

Ну, значит, решено и подписано. Джин-Луиза останется дома. Тетушка сообщит Аттикусу, и не будет на белом свете человека счастливее.

– Тетя, я не останусь дома, а если б осталась, не было бы на белом свете человека несчастнее Аттикуса... Но ты не тревожься – он все понимает, а если ты возьмешься за дело с душой, то и весь Мейкомб поймет.

Но неожиданно последовал удар ножа, и клинок вонзился глубоко:

– Джин-Луиза, до последнего часа твоего брата тревожило, как безалаберно ты живешь.

Вечер жаркий, на могилу тихо падают мелкие капли дождя. Ты никогда этого не говорил, ты этого даже не думал; если бы подумал – сказал бы. Мне ли не знать тебя? Спи спокойно, Джим.

Она подсыпала соли на рану: да, я живу безалаберно. Я думаю только о себе, я потакаю своим прихотям, я слишком много ем, я чувствую себя ходячим молитвенником. Господи, прости меня, я не делаю, что должна, и делаю, чего не должна... ах, чтоб тебя!

И она вернулась в Нью-Йорк, мучаясь угрызениями совести, унять которые было не под силу даже Аттикусу.

С тех пор прошло два года; Джин-Луиза перестала корить себя за безалаберность, а тетушка обезоружила ее первым и единственным в жизни великодушным поступком – переехала жить к Аттикусу, когда его скрутил артрит. И благодарность заставила Джин-Луизу склонить голову.

Знай Аттикус, о чем говорили его сестра и дочь, он бы их ни за что не простил. Ему и вправду никто не был нужен, но мысль прекрасная – кому-то ведь надо приглядывать за ним, застегивать ему рубашку, когда руки не слушаются, вести хозяйство. Еще полгода назад с этим справлялась Кэлпурния, но с недавних пор она настолько одряхлела, что Аттикус почти все делал сам, так что, получив почетную отставку, старушка вернулась в негритянский квартал.

– Я уберу, тетя, – сказала Джин-Луиза, увидев, что Александра принялась составлять на поднос посуду. – В такую погоду ужасно хочется спать. – Она поднялась с дивана и потянулась.

– Сиди-сиди, – сказала тетушка. – Что тут убирать – три чашки? Минутное дело.

Джин-Луиза вняла ей и оглядела гостиную. Старая мебель отлично прижилась на новом месте. В соседней столовой на буфете, на фоне светло-зеленой стены сверкали серебром массивный кувшин, поднос и бокалы покойной матери.

Что за человек, подумала она. Очередная глава его жизни дочитана – Аттикус сносит старый дом, в новом квартале строит новый. Я бы так не смогла. Там, где было их прежнее гнездо, теперь кафе-мороженое. Интересно, чье?

Она прошла на кухню.

– Ну что, как там Нью-Йорк? – осведомилась тетушка. – Хочешь еще чашечку, пока я не вылила?

– Спасибо, с удовольствием.

– Да, кстати. В понедельник утром созываю всех на кофе.

– Тетя-я! – чуть не взвыла Джин-Луиза. Таков был примечательный обычай в Мейкомбе: в дом к девушке, вернувшейся в отчий край, приглашали гостей и угощали их кофе. В половине одиннадцатого их усаживали на всеобщее обозрение, дабы захрясшие в Мейкомбе сверстницы могли на них посмотреть. В таких условиях у детских дружб было мало шансов заиграть новыми гранями.

Джин-Луиза со школьными подружками связей не поддерживала и вовсе не горела желанием узнать, как там у них сложилась жизнь. Школу она вспоминала с отвращением как худшее время жизни, к женскому колледжу сентиментальных чувств решительно не питала, и ничем нельзя было досадить ей сильнее, чем играми в «А ты помнишь Такого-то?»

– Перспектива наводит на меня смертельный ужас, – сказала она, – но от чашечки кофе я бы не отказалась.

– Я так и думала, дитя мое.

Джин-Луиза почувствовала прилив нежности. Она в неоплатном долгу перед Александрой, согласившейся перебраться к Аттикусу. А она, мерзавка, все язвила по адресу тетушки, беззащитной, несмотря на броню корсетов, и к тому же наделенной неким врожденным достоинством, которого никогда не будет у Джин-Луизы. Тетушка и в самом деле была последней могокканшей. Ее даже краешком не затронула ни одна война, а тетушка пережила три; ничто не могло поколебать прочность ее мира, где джентльмены курят на крыльце или лежат в гамаке, а дамы тихонько обмахиваются веерами и пьют холодную воду.

– Как дела у Хэнка?

– Дела у него превосходны. Ты, наверно, знаешь – Киванис-клуб объявил его Человеком Года. Вручили такой чудный диплом.

– Нет, я не знала.

Звание «Человек Года» по версии Киванис-клуба было в Мейкомбе послевоенным новшеством и значило обычно «молодой человек далеко пойдет».

– Аттикус был так горд. Говорит, Генри еще не вполне понимает значение слова «контракт», но в налогах разбирается прекрасно.

Джин-Луиза усмехнулась. Отец утверждал, что выпускнику юридического колледжа нужно еще пять лет, чтобы изучить право: два года – на экономику, еще два – освоить принятый в Алабаме порядок подачи кассаций и еще год – чтобы перечест Библию и Шекспира. После этого человек полностью оснащен и ему ничего не страшно.

– А что ты скажешь, если Хэнк станет твоим племянником?

Александра, вытиравшая руки посудным полотенцем, замерла. Повернулась, пристально взглянула на Джин-Луизу:

– Ты серьезно?

– Не исключено.

– Не торопись, дитя мое.

– Не торопиться? Мне двадцать шесть, тетя, а Хэнка я знаю с рождения.

– Да, но...

– Что такое? Он тебе не нравится?

– Не в этом дело... Ты пойми, флиртовать с молодым человеком – одно, а выйти за него замуж – совсем другое. Тут следует принять в расчет все. Происхождение Генри...

– ...точно такое же, как мое. Мы с ним из одного курятника.

– У него в роду были алкоголики...

– У кого их не было?

Александра выпрямила стан:

– У Финчей.

– Это верно. У нас все просто полоумные.

– Ты сама знаешь, что это неправда.

– Кузен Джошуа, скажешь, был не чокнутый?

– Тебе прекрасно известно, что тут виной другая ветвь. Послушай меня, деточка, во всем округе нет юноши достойней и приятней Генри Клинтона. Однажды он составит чье-то счастье, но...

– ...но для наследницы рода Финчей недостаточно хорош, да? Милая моя тетушка, это все сгинуло после Французской революции... или началось, не помню точно.

– Я вовсе не это имела в виду. А просто в делах такого рода надо быть *осторожнее*.

Джин-Луиза улыбалась, но линии ее обороны были приведены в боевую готовность. Опять начинается. О господи, и зачем я это лягнула. Убить меня мало! Тетушке Александре только дай волю – с нее станется подыскать Генри где-нибудь в Уайлд-Форк чистенькую хорошенькую телушку в образе человеческом да еще благословить их детей. Знай свое место, Генри Клинтон.

– Я, ей-богу, в толк не возьму, куда уж тут осторожнее. Аттикус хотел бы, чтобы Хэнк вошел в семью. Рад был бы до смерти.

Да, это так. Аттикус Финч с доброжелательным бесстрашием наблюдал, как Хэнк коряво ухаживает за его дочерью, советовал, когда просили совета, но всячески показывал, что его дело сторона.

– Аттикус – мужчина. Он в этом не разбирается.

У Джин-Луизы даже зубы заныли.

– Да в чем «в этом», тетя?

– Послушай меня, деточка. Какой судьбы ты бы желала для своей дочери? Разумеется, самой счастливой. Ты пока этого не понимаешь, как и большинство девушек твоего возраста... Что бы ты сказала, если б твоя дочь собралась замуж за человека, чей отец бросил их с матерью, а потом спился и умер где-то на железнодорожных путях в Мобиле? Кара Клинтон была добрейшей души человек, жизнь ей досталась тяжелая, об этом можно только пожалеть, но ты ведь намереваешься связать свою судьбу с плодом такого союза. Тут семь раз отмерить надо.

Семь раз отмерить, ага. Джин-Луиза увидела, как поблескивает золотая оправа очков на брюзгливом лице, обрамленном буклями парика, воздетый костлявый перст. И продекламировала:

Последний шанс. Нас уверял ответчик,
Что он, напившись, может и влепить.
Ну, что ж, коллеги. Суд идет навстречу.
Вот пусть и влепит. Здесь, сейчас... Споить!!!^[11]

Александра восторга не выказала. Наоборот, была до крайности удручена. И решительно не желала понимать нынешнюю молодежь. И не то чтобы молодежь нуждалась в понимании – в каждом поколении молодые люди одинаковы, – но эта дурашливость, это легковесное отношение к важнейшим вопросам, от которых, может быть, зависит человеческая судьба, раздражали ее чрезвычайно. Племянница вот-вот сделает непоправимый шаг, совершит главную ошибку своей жизни, а вместо того чтобы осознать серьезность последствий, валяет дурака и строит насмешки. Вот что значит – остаться без матери. Аттикус с двух лет предоставлял ей полную волю, девочка росла как трава – нечего удивляться тому, что выросло. Она просто обязана привести племянницу в чувство, причем немедленно и крутыми мерами, не то будет поздно.

– Джин-Луиза, – сказала она. – Придется напомнить тебе кое-какие истины. Подожди, не перебивай. – Александра простерла руку, призывая к молчанию. – Я уверена, ты и сама это знаешь, однако так привыкла все вышучивать и над всем глумиться, что кое на что просто не обращаешь внимания. Живешь в Нью-Йорке, а разума – как у младенца. Генри Клинтон тебе не пара и парой никогда не будет. Мы, Финчи, не можем породниться с голытьбой и белой швалью, а родители его именно таковы и были. И хотелось бы назвать их иначе, да нельзя. Генри более или менее выбился в люди лишь благодаря Аттикусу, который его тянул и тащил, и еще потому, что случилась война, а ветеранам обучение бесплатно. Какой бы славный он ни был, плебейство не спрячешь и не отскоблишь. Ты, может быть, не обращала внимания, что он облизывает пальцы, когда ест торт? Это оно. Тебе не бросается в глаза, что он кашляет, не прикрывая рот? И это оно. А ты знаешь, что в университете он очень некрасиво поступил с одной девушкой? То же самое. А ты ни разу не замечала, как он ковыряет в носу, думая, что его никто не видит? Оно...

– Это не плебейство, а мужское начало, – сказала Джин-Луиза мягко, хотя внутри у нее все кипело. Надо выждать немного – и к тетушке вернется доброе расположение духа. Она-то никогда не сорвется, не опустится до грубости, а вот я – уже на грани. Она не унижится до перебранки, как это бывает с Хэнком и со мной. Не знаю, кто она, но, ей-

богу, пусть лучше замолчит, а не то я подкину ей пищу для размышлений...

– ...и в довершение всего он уверен, что Аттикус на своем горбу вывезет его к успеху. Метит на его место в церковном совете, пытается за его счет расширить свою практику, колесит по всей округе на его машине. И ведет себя так, словно этот дом уже принадлежит ему... И что же Аттикус? Да ничего. Принимает как должное. Более того, ему даже нравится. А в городе только и разговоров, что Генри Клинтон прибирает к рукам все, что у Аттикуса есть...

Пальцы Джин-Луизы, проворно сновавшие по ободку чашки в раковине, замерли. Она стряхнула капли на пол, подошвой растерла по линолеуму.

– Тетя, – сказала она почти нежно, – ты чушь мелешь. Собачью чушь. Заткнись, а?

* * *

Ритуал субботнего вечера возник так давно, что нарушить его было просто немислимо. Джин-Луиза вошла в гостиную и остановилась перед креслом отца. Откашлялась.

Аттикус отложил «Мобил Пресс» и поднял глаза. Дочь медленно повернулась кругом.

– Ничего не расстегнуто? Швы на чулках посередке? Челочка приглажена?

– Семь часов, и ты при полном параде. Ну что – нагрубил тетушке?

– И не думала даже.

– А она говорит – нагрубил.

– Я, может, выразилась резко, но не ругалась. – Аттикус как-то объяснил своим тогда еще маленьким детям разницу между желанием все называть своими словами и богохульной бранью. Первое он готов был снести, но терпеть не мог, когда к ругани припутывали Господа Бога и поминали черта. И потому ни Джин-Луиза, ни ее брат никогда не чертыхались в его присутствии.

– Мисс Александра достала меня до печенок.

– Зачем ты ей позволила? Что ты сказала?

Джин-Луиза сообщила, что. Аттикус поморщился:

– Пожалуйста, помирись с ней. Она, конечно, умеет плешь проесть нравуочениями, но сердце у нее доброе.

– Она допекла меня Хэнком.

Аттикус был умен и потому оставил эту тему.

Дверной звонок у Финчей обладал мистическими свойствами и умел сообщать о настроении того, кто им воспользовался. И когда раздалось «ди-и-и-инь», Джин-Луиза поняла, что в двери ломится счастливый Генри. И побежала открыть.

Когда он переступил порог, ноздри ее уловили приятно-приглушенный мужской запах, но букет бритвенного крема, табака, нового автомобиля и пыльных книг улетучился, едва Джин-Луиза вспомнила о разговоре на кухне. Она обхватила Генри за поясницу, головой ткнулась ему в грудь.

– Это по какому же такому случаю? – возрадовался Генри.

– Помнишь, был такой генерал Простотак, герой Пиренейских войн? Пошли.

Генри заглянул в гостиную, где в углу сидел Аттикус:

– Обещаю доставить ее не поздно, мистер Финч.

Аттикус помахал ему газетой.

Когда они вышли в темноту, Джин-Луиза задумалась – что сказала бы тетушка Александра, знай она, что племянница как никогда близка к тому, чтобы выйти за «белую шваль».

Часть II

Город Мейкомб, штат Алабама, появился на карте благодаря сметливости некоего Синкфилда, который на заре существования округа владел трактиром на перекрестке двух проселочных дорог – только там в этом краю можно было поесть и переночевать. Губернатор Уильям Уайат Бибб, желая способствовать мирному процветанию нового округа, поручил команде землемеров установить его точный центр, чтобы именно там разместить свою администрацию, и не предпринимай Синкфилд доблестной попытки сохранить свои владения, стоять бы Мейкомбу посреди Уинстонова болота, где ничего интересного сроду не было.

Но случилось иное, и Мейкомб пошел в рост из той точки, где был трактир Синкфилда, потому что он Синкфилд однажды вечером славно угостил землемеров и уговорил их достать карты, тут чуть подрезать, там малость прибавить и, короче говоря, подогнать центр округа к его хотениям. И когда на следующий день они тронулись со своими картами и планами в обратный путь, в седельных сумках у них было пять кварт виски – по две на брата и одна для губернатора.

Джин-Луиза так и не поняла, мудро ли поступил трактирщик, благодаря которому юный город оказался в двадцати милях от реки – единственной в ту пору транспортной артерии, – и обитатели южной оконечности округа, отправляясь в Мейкомб за покупками, тратили на дорогу по двое суток. По этой причине лет полтора с лишним Мейкомб не рос. А не захирел лишь потому, что в нем обосновались власти округа. От превращения в очередной грязный поселочек, каких полно в Алабаме, его спасало и то, что здесь водилось немало всевозможных специалистов – и человеку приезде было где вырвать зуб, починить свой фургон и положить свои деньги, кому излить душу, где полечить захворавшего мула и продлить срок закладной.

Новые люди появлялись здесь редко. Члены одних и тех же семейств вступали в браки с членами одних и тех же семейств, и в итоге родственные узы перепутались безнадежно, а горожане сделали все на одно лицо. Джин-Луиза до Второй мировой состояла в кровном родстве или свойстве едва ли не со всем городом, и это еще были сущие пустяки по сравнению с тем, что творилось на севере округа: там, в поселке Старый Сарэм жили две семьи, причем каждая была вполне себе наособицу, хоть обе и носили, к несчастью, одинаковую фамилию. Канингемы и Конингемы

женились друг на дружке, покуда разница в написании фамилии не приобрела умозрительно-академический характер – умозрительный до тех пор, пока какой-нибудь Канингем не вздумает потягаться с Конингемом за некие права собственности и не притянет его к суду. Впервые в жизни Джин-Луиза увидела судью Тейлора в полном замешательстве, чтобы не сказать «в тупике», как раз на таком слушании. Джиме Канингем свидетельствовал, что хотя его матушке случалось писать на бумагах свою фамилию через «а», но на самом деле была она Конингем и к тому же не очень в ладах с грамотой да еще имела привычку, сидя на веранде, заглядываться в даль. На десятом часу слушаний и заслушиваний обитателей Старого Сарэма судья Тейлор объявил, что квалифицирует дело как находящееся вне юридического поля ввиду смехотворной неосновательности обоюдных претензий и выразил надежду, что тяжущиеся стороны удовлетворятся предоставленной обеим возможностью публичного высказывания. Стороны удовлетворились. Им, собственно, только того и было надо.

До 1935 года улицы в Мейкомбе не мостили, а когда начали, за что следует сказать спасибо президенту Ф.Д. Рузвельту, начали, строго говоря, не с улицы. Президент отчего-то решил, что примыкающий к зданию средней школы пустырь от крыльца до перекрестка нуждается в благоустройстве, и благо это было соответствующим образом устроено, результатом чего стали множество ссаженных коленок, несколько разбитых голов и категорический директорский запрет играть на мостовой в «паровозик». Так – семенами в почву – в души Джин-Луизы и ее сверстников были брошены начальные понятия о правах штатов.

Вторая мировая не прошла для Мейкомба даром: вернувшиеся с войны парни вернулись не просто так, а с сумасбродными идеями насчет того, как бы заработать денег и наверстать упущенное время. Они раскрасили фасады отчих домов в убийственно-яркие цвета, они выбелили стены городских лавок и украсили их неоновыми вывесками, они выстроили себе кирпичные домики там, где прежде колосилась пшеница и шумели сосны; они уничтожили прежний облик города. Улицы не только замостили, но и назвали (в честь мисс Аделины Клей появилась Аделина-авеню), но старшее поколение горожан не признавало новшеств – чтобы сориентироваться, им достаточно было дороги, идущей от площади Томпкинса. После войны в Мейкомб со всего округа устремились молодые фермеры-арендаторы, понаставили спичечные коробки деревянных домиков, обзавелись семьями. Никто толком не понимал, чем они живут, однако чем-то ведь жили и, глядишь, даже образовали бы в Мейкомбе

новый социальный слой, если бы остальные жители признали их существование.

Да, Мейкомб стал иным, но в новых домах с телевизорами и электродуховками бились прежние сердца. Можно выбелить все, что в голову взбредет, можно приляпать нелепые неоновые вывески – вековые стропила выдержат и это бремя.

– Что, не нравится? – спросил Генри. – Я видел, какое у тебя стало лицо, когда мы вошли.

– Силен, силен во мне дух консерватизма – я же на дух не переношу новых веяний, – ответила Джин-Луиза с полным ртом жареных креветок.

Они с Генри сидели на никелированных стульях в ресторанчике «Мейкомб-отеля» за столиком на двоих. Ровным тихим гудом заявлял о себе кондиционер. – Зато ничем не воняет, и это не может не радовать.

Длинный стол со множеством тарелок, затхлый запах старого дома и горячие волны чада с кухни.

– Хэнк, что это такое – «Повар, тише, в кухне мыши», а?

– Чего-чего?

– Вроде игра была такая?

– Была игра «Тише едешь – дальше будешь». Все бегут, вода оборачивается, кто не успел замереть, тот выбывает.

– Нет, там, кажется, салить надо было.

Никак не вспомнить. Перед смертью, наверно, удастся, но сейчас в памяти мелькал только джинсовый рукав да поспешно выкрикнутое это самое, насчет повара и мышей... А чей же был рукав и что стало с тем, кому он принадлежал? Должно быть, пестует свое семейство в одном из новых домиков... Странное чувство – как будто время течет мимо, не задевая.

– Хэнк, давай съездим на реку, – сказала Джин-Луиза.

– Ну а как же нам не съездить на реку? – улыбнулся Хэнк. Он сам не знал, почему так получается, но как только Джин-Луиза попадала на «Пристань Финча», она становилась больше похожа на себя прежнюю: словно тамошний воздух так на нее действовал. – Ты прямо Джекил и Хайд, вот ты кто.

– Ты слишком много пялишься в телевизор.

– Иногда мне кажется – ты у меня вот где. – Генри сжал кулак. – А чуть поверю, что взял тебя и держу крепко, ты раз – и выскользнула.

Джин-Луиза вскинула бровь:

– Мистер Клинтон, вы позволите даме, знающей свет, кое-что вам посоветовать? Никогда не раскрывайте свои карты.

– То есть?

– Ты что – не знаешь, как уловить женщину в свои сети? – Она пригладила воображаемый ежик и насупилась. – Женщине нужно, чтобы ее избранник был человек властный, уверенный в себе и при этом держался отстраненно, если он, конечно, способен на все это разом. Женщина в его присутствии должна чувствовать себя беспомощной, особенно если сама может горы свернуть и реки вспять обратить – и он это знает. Никогда не выказывай перед ней сомнений и ни в коем случае не признавайся, что не понимаешь ее.

– Ладно, моя милая, отыгралась, – сказал Генри. – Но с твоим последним утверждением я бы поспорил. Всегда думал – женщины любят напускать туману и чтобы их считали такими странными... таинственными.

– Им нравится только казаться такими. А потом, когда перестанет топорщить перышки, каждой женщине в этом мире нужно, чтобы рядом был сильный мужчина, который читал бы в ее душе, как в открытой книге, и был не просто возлюбленный, а – «не дремлет и не спит хранящий Израиля»^[12]. Глупо, скажи, а?

– Получается, ей нужен не муж, а отец?

– По сути да, – ответила Джин-Луиза. – На этот счет книги не врут.

– Ты ужасно умная сегодня, – сказал Генри. – Где нахваталась?

– В Нью-Йорке, где коснею во грехе, – ответила она. Закурила, глубоко затянулась. – Насмотрелась там на гламурных куколок с Мэдисон-авеню, только-только выскочивших замуж... Знаешь, как они разговаривают? Ужасно забавно, только надо приноровиться – у них там свои ритуальные песни-пляски. А схема повсюду одинакова. Начинается с того, что жены смертельно скучают, потому что мужья так устали от зарабатывания денег, что должного внимания им не уделяют. Когда же они принимаются скандалить, мужья, вместо того чтобы разобраться, в чем дело, ищут, на чьей бы груди выплакаться. Когда это дело им надоедает – нельзя же без конца говорить только о себе, – они возвращаются в лоно. В лоне все по первости цветет и пахнет, потом мужья устают, жены бешутся – и так по кругу. Мужчины в этом возрасте превращают Другую Женщину в кушетку психоаналитика, тем более что оно и дешевле выходит. Гораздо.

Генри вытаращился на нее:

– Откуда столько злости? Что случилось?

Джин-Луиза заморгала:

– Прости. – И раздавила сигарету в пепельнице. – Просто я до ужаса боюсь, что если выйду за неподходящего человека, вляпаюсь во что-то

подобное... Ну, мне не подходящего. Я ведь такая же, как все женщины, ошибусь – и он, показав рекордное время, превратит меня в визгливую стерву.

– С чего ты взяла, что выйдешь за неподходящего? Разве тебе неизвестно, что я – домашний тиран, каких поискать? Зверь.

Черная рука протянула подносик со счетом. Джин-Луиза узнала эту руку и подняла глаза:

– Альберт, привет. Каким ты нынче красавчиком... в белой куртке...

– Точно так, мисс Глазастик, – отвечал официант. – Как там жите в Нью-Йорке?

– Замечательно, – сказала она. Интересно, кто еще в Мейкомбе помнит Глазастика Финч, бесшабашную девчонку-сорванца? Да никто, пожалуй, кроме дяди Джека, который порой безжалостно смущал племянницу, потешая честную компанию звеняще напевным перечнем ее детских прегрешений. Завтра утром она увидит его в церкви, а потом придет к нему в гости. Общение с дядюшкой Финчем – одно из главных ее удовольствий в Мейкомбе.

– А вот скажи, чем объяснить, – неторопливо спросил Генри, – что вторую чашку кофе после ужина ты всегда допиваешь только до половины?

Она с недоумением заглянула в чашку. Любой – даже из уст Генри – намек, что она ведет себя странно, приводил ее в смущение. Подумайте, какой приметливый. И почему это он пятнадцать лет молчал, а теперь решил сказать?

Залезая в машину, она треснулась головой о крышу.

– Ах, чтоб тебя! Почему нельзя сделать повыше?! – И терла лоб, пока муть перед глазами не рассеялась.

– Больно?

– Да ничего. Уже прошло.

Генри мягко прихлопнул за ней дверцу, обошел машину и сел за руль.

– Вот оно, нью-йоркское-то житье, – сказал он. – Разучилась на машинах ездить?

– Разучилась. Интересно, когда их приплюснут к земле? Чтоб не выше фута. В будущем году вообще, наверно, лежа будем ездить.

– И лететь со скоростью снаряда. От Мейкомба до Мобила за три минуты.

– Меня вполне устроил бы старый добрый честный «бьюик». Помнишь их? Сидишь футах в пяти над землей.

– Помнишь, как Джим выпал из машины?

Джин-Луиза рассмеялась:

– Я несколько недель его дразнила: до Баркерова Омута не доехал, из машины выпал, мокрая ку-урица.

В далеком прошлом Аттикус в старом открытом фаэтоне однажды повез Джима, Генри и Джин-Луизу купаться и на какой-то особо зловредной выбоине автомобиль очень сильно потрянуло, но все обошлось, и он поехал дальше – но уже без Джима. Аттикус безмятежно рулил до места назначения, поскольку Джин-Луиза мало того, что сама не пожелала оповестить отца, что Джима с ними больше нет, но принудила к молчанию и Генри, взяв его палец на излом. На берегу ручья Аттикус обернулся с душевным «Вытряхивайтесь!» – и улыбка примерзла к его губам: «А Джим-то где?» Джин-Луиза отвечала, что, наверно, вот-вот появится. Появившись весь в поту и пыли, задыхаясь после вынужденного спринта, Джим, не останавливаясь, промчался мимо и в чем был прыгнул в воду. Через секунду вынырнул и со зверским выражением лица прокричал: «А ну лезь сюда, Глазастик! И ты тоже, Хэнк! Поквитаемся!» Они приняли вызов, и хотя Джин-Луиза думала – брат ее сейчас утопит, тот быстро разжал пальцы: на берегу стоял Аттикус.

– Там теперь купаться нельзя, – сказал Генри. – Лесопилку на берегу поставили.

Он подогнал машину к закусочной и посигналил, а когда на звук клаксона вышел паренек, попросил:

– Два набора, Билл.

В Мейкомбе можно пить, а можно не пить. Кто пьет, заходит за гараж, откупоривает и выпивает пинту; кто не пьет, под покровом ночи заказывает в закусочной «набор» на вынос; а о тех, кто до или после обеда, у себя дома или с соседом выпивает стакан-другой, здесь не слыхивали. Так Не Принято. Тот, кто так выпивает, как бы уже не может принадлежать к высшему разряду, а поскольку граждане Мейкомба не желали относить себя ни к какому разряду, кроме высшего, подобного стиля в городе не было.

– Мне совсем чуть-чуть, ладно? – сказала Джин-Луиза. – Воду подкрасить.

– Еще не приучилась? – спросил Генри. Он запустил руку под кресло и извлек коричневую бутылку «Сигрэмз Севен».

– К такому крепкому – пока нет.

Генри подкрасил воду в ее бумажном стаканчике. Себе налил как следует, от души, размешал пальцем и, зажав бутылку между колен, завинтил колпачок. Потом спрятал виски на прежнее место и со словами:

– Поехали, – тронулся с места.

Шорох шин по асфальту навевал дремоту. Тем еще дивно хорош был Генри Клинтон, что с ним можно помолчать, когда хочется. Его не надо развлекать.

Когда на нее напал такой стих, Генри никогда не теребил ее, не тормозил. Он был приверженцем политики Асквита^[13] и знал, что Джин-Луи – за отдает должное его терпению. А вот ей было невдомек, что этой добродетели он научился у ее отца. «Спокойно, сынок, спокойно, – таков был один из немногих советов Аттикуса. – Не торопи ее. Пусть идет в своем ритме. Будешь гнать – с любимым мулом легче будет жить, чем с ней».

Люди, которые вместе с Генри Клинтонем учились в юридическом колледже, прошли войну, были молоды, даровиты и лишены чувства юмора. Соперничество было зверское, но Генри с детства привык к работе. С учебой он справлялся, но из университета вынес очень мало такого, что пригодилось бы в адвокатской практике. Прав был Аттикус Финч: лишь тем хорош был университет, что Генри подружился там с людьми, которые позже стали в Алабаме политиками, политиканами, государственными деятелями. Самое отдаленное представление о том, что такое право и с чем его едят, получаешь, когда приходит пора заниматься его практическим применением. Действующий в штате Алабама раздел общего права был по

природе своей столь туманен, что Генри пришлось вызубрить учебник наизусть. Желчный человек, читавший этот курс, был единственным на факультете профессором, которому хватало духу хотя бы пытаться обучать студентов, но его каменная непреклонность наводила на мысль, что и он не в полной мере разбирается в сути своего предмета. «Мистер Клинтон, – сказал он, когда Генри пытался вызнать у него тонкости какого-то особо двусмысленного положения, – вы можете писать хоть до второго пришествия, но учтите: если ваши ответы не совпадут с моими, они неверны. Да, сэр, неверны!» Немудрено, что в самом начале их сотрудничества Аттикус привел Генри в замешательство, сказав однажды: «Кассация – это просто изложить на бумаге все, что желаешь сказать. Не более того». Терпеливо и ненавязчиво он учил Генри всему, что тот и так знал о своем ремесле, но Генри порой спрашивал себя – неужели надо дожить до Аттикусовых лет, чтобы овладеть юриспруденцией? *Заплакал обстриженный наголо Том*^[14]. Зависимое держание? Нет, первое дело о найденном кладе – сколько бы ни было претендентов, право собственности у того, кто нашел, если ее не затребовал истинный владелец. Маленький трубочист нашел брошь^[15]. Генри взглянул на Джин-Луизу. Та дремала.

Она принадлежит ему, и это ясно. Принадлежит с тех пор, как швыряла в него камнями, однажды доигралась с порохом до того, что чуть не снесла себе башку, наскაკивала сзади, жестко брала в полунельсон и не отпускала, пока не слышала «сдаюсь», а однажды летом заболела и бредила в жару, зовя то его, то Джима, то Дилла, – вот интересно, где он сейчас? Джин-Луиза должна знать, она не теряла с ним связи.

– Слушай, а где сейчас Дилл?

Джин-Луиза открыла глаза:

– Был в Италии, где сейчас – не знаю.

Она поерзала. Чарльз Бейкер Харрис, ее закадычный дружок. Потом зевнула и стала смотреть, как втягивается под капот автомобиля белая линия разметки.

– А мы-то где?

– Нам еще десять миль.

– А уже чувствуется, что река близко, – сказала она.

– Может, ты помесь человека с крокодилом? Я вот ничего не чую.

– Как думаешь, Двупалый Том еще там?

Где река, там и Двупалый Том. Местная нечисть, роет тоннели под Мейкомбом, ворует цыплят; оставляет следы на всем пути от Демополиса до Тенсо. И лет Двупалому Тому столько же, сколько округу Мейкомб.

- Может, увидим его, – сказал Генри.
- С чего ты вдруг вспомнил про Дилла? – спросила Джин-Луиза.
- Сам не знаю. Так, в голову пришло.
- Ты всегда его недолюбливал, а?

Генри улыбнулся:

– Я ревновал. Он был с вами все лето, а мне, как занятия кончатся, надо было возвращаться домой. Дома с кем побесишься?

Джин-Луиза молчала. Время замерло, вздрогнуло и лениво потекло вспять. Туда, где почему-то круглый год лето. Хэнк был далеко, помогал матери, и Джим волей-неволей довольствовался обществом сестры. Дни длинные, Джиму одиннадцать лет, и происходило примерно одно и то же.

С начала мая до конца сентября они ночевали на веранде – там прохладнее всего. Джим, который лежал на своей койке, читая с рассвета, сунул Джин-Луизе под нос футбольный журнал, ткнул пальцем в фотографию и спросил:

- Это кто, Глазастик?
- Джонни Мак Браун^[16]. Будем играть?

Джим потряс журналом:

- А это кто?
- Ты, – сказала она.
- Ладно. Зови Дилла.

В этом не было необходимости. Затрещали капустные кочны в огороде мисс Рейчел, простонала изгородь на задах – и Дилл тут как тут. Он был диковина – из Меридиана, штат Миссисипи, и обладал немалыми познаниями о мироустройстве. В Мейкомб приезжал на все лето к своей двоюродной бабушке, соседке Финчей. Личность была приземистая, крепенькая, с льяными волосами, с личиком херувима и хитростью горноста. На год старше Джин-Луизы и на голову ниже.

– Привет, – сказал он. – Давайте сегодня в Тарзана играть. Чур, я Тарзан.

- Ты не можешь быть Тарзан, – ответил на это Джим.
- Я буду Джейн, – сказала Джин-Луиза.

– Я не хочу опять обезьяной быть! – возмутился Дилл. – Почему я всегда обезьяна?!

– Может, будешь Джейн? – спросил Джим. Потянулся, надел штаны и сказал: – Играем в Тома Свифта^[17]. Я буду Том.

– Я – Нед, – в один голос сказали Дилл и Джин-Луиза, а та еще добавила:

– А вот и нет.
Дилл покраснел:
– Почему ты, Глазастик, вечно меня оттираешь? Может, я тоже хочу...
– А стыкнуться по этому поводу не хочешь? – спросила она вежливо и сжала кулаки.
– Давай ты будешь мистер Деймон, – вмешался Джим. – Он забавный такой, а в конце всех спасает. И все время клянется.
– Клянусь своей страховкой, – сказал Дилл, сунув большие пальцы за воображаемые подтяжки. – Ладно, давай.
– Ну и во что играем? – сказал Джим. – «Его океанский аэропорт» или «Его летательный аппарат»?
– Да ну, надоело, – сказала Джин-Луиза. – Надо новую придумать.
– Ладно. Глазастик, ты – Нед Ньютон. Дилл – ты мистер Деймон. Значит, так: Том сидит у себя в лаборатории и изобретает такую машину, которая видит через кирпичную стену, и тут этот входит и говорит: «Мистер Свифт?» Так, я – Том и, значит, отвечаю: «Чем могу служить, сэр?»
– Не бывает такой машины, чтоб через кирпичную стену видела, – сказал Дилл.
– Эта видит. В общем, этот входит и спрашивает: «Мистер Свифт?»
– Слушай, Джим, – сказала Джин-Луиза. – Тогда нам нужен еще кто-нибудь. Давай я сгоняю за Беннетом?
– Не надо. Этот дядька ненадолго пришел, я и за него буду. Поехали.
Роль посетителя сводилась к тому, что он сообщил юному изобретателю, что тридцать лет назад в Бельгийском Конго пропал знаменитый ученый и как раз пришло время его спасти. К кому же еще обратиться, как не к Тому Свифту и его друзьям, и Том Свифт с жаром согласился пуститься в новое приключение.
Все трое сели в Его Летательный Аппарат, который смастерили из широких досок и давно уже приколотили к самым толстым ветвям персидской сирени.
– Ну и жарища, – сказал Дилл. – Фу-фу-фу.
– Чего? – спросил Джим.
– Я говорю, тут адская жарища, потому что к солнцу ближе. Клянусь своими кальсонами!
– Ерунда какая. Чем выше поднимаешься, тем холодней.
– А я говорю – тем жарче!
– Ничего не жарче, а холодней. Потому что чем выше, тем воздух тоньше. Так, Глазастик, теперь ты говоришь: «Том, куда мы летим?»

– Да мы вроде в Бельгию летим, – сказал Дилл.
– Вы должны спросить: «Куда мы летим?», потому что этот дядька мне сказал, а не вам, а я вам еще не сказал. Поняли?

Они поняли.

Когда Джим объяснил, в чем заключается их миссия, Дилл спросил:

– А откуда они знают, что он еще жив, если уже так давно пропал?
– Дядька этот сказал, они получили сигнал с Золотого Берега, что профессор Уиггинс...

– Если получили сигнал, с чего тогда взяли, что он пропал? – перебила Джин-Луиза.

– ...что профессор Уиггинс попал в племя охотников за головами, – не слушая, продолжал Джим. – Нед, у тебя есть винтовка с рентгеновским прицелом? Ты отвечаешь: «Есть».

– Есть, Том, – ответила Джин-Луиза.

– Мистер Деймон, а вы загрузили в Летательный Аппарат достаточно припасов? Мистер Деймон, я к вам обращаюсь!

Замечтавшийся Дилл вернулся к действительности:

– Клянусь моей скалкой! Так точно, сэр! Фу-фу-фу!

Приземлились на три точки на окраине Кейптауна, и тут Джин-Луиза заявила, что так не играет – Джим вот уже десять минут ничего не дает ей сказать.

– Ладно, Глазастик, сейчас скажешь: «Том, нельзя терять времени! Пойдемте в джунгли».

И она сказала.

Обошли задний двор, прорубаясь сквозь заросли, время от времени останавливаясь, чтобы метким выстрелом свалить отбившегося от стада слона или вступить в схватку с племенем каннибалов. Джим шел впереди. Время от времени он кричал: «Ложись!» – и они плюхались на теплый песок. Однажды он спас мистера Деймона из водопада Виктория, а Джин-Луиза стояла рядом и дулась, потому что ей доверили только держать трос, на котором спускался Джим.

Потом он крикнул:

– Мы почти у цели! За мной!

И они ринулись к гаражу, где обитало племя охотников за головами. Джим упал на колени.

– Ты что делаешь? – спросила Джин-Луиза.

– Тс-с... Жертвы приношу.

– На тебя глядеть жутко, – сказал Дилл. – А зачем жертвы?

– Чтоб отвадить дикарей. Вон они! – Джим басовито загудел, как

тамтам, пробубнил что-то вроде «буджа-буджа-буджа» – и оживший гараж оказался полон туземцев.

Дилл тошнотворно закатил глаза, весь одеревенел и рухнул наземь.

– Мистер Деймон ранен! – вскричал Джим.

Они вытащили застывшего как бревно Дилла на солнце. Набрали фиговых листьев и выложили на него рядком, от макушки до пяток.

– Думаешь, поможет, Том? – спросила она.

– Надеюсь. Пока не знаю. Мистер Деймон, мистер Деймон, очнитесь! – и дал Диллу легкого тумака.

Тот поднялся, отряхиваясь.

– Ну, хватит, Джим Финч! – и снова распростерся на земле, раскинув руки и ноги. – Не хочу больше тут торчать. Жарко.

Джим с таинственным видом, словно священнодействуя, поводит ладонями у него над головой и сказал:

– Смотри, Нед. Очухался.

Веки Дилла дрогнули, глаза открылись. Он поднялся и побрел через двор, бормоча: «Где я? Где я?..»

– Да здесь, здесь, у нас, – сказала она, встревожившись.

Джим глянул на нее сердито:

– Да ничего не здесь! Ты должна сказать: «Мистер Деймон, вы потерялись в Бельгийском Конго под воздействием магических заклинаний. Я Нед, а это Том».

– А мы тоже потерялись? – спросил Дилл.

– Пока вы были под колдовскими чарами – да, а теперь уже нет, – отвечал Джим. – Профессор Уиггинс томится в плену у дикарей вон в той хижине, и мы должны его освободить...

Судя по всему, профессор Уиггинс так и остался в плену. Чары рассеяла Кэлпурния, которая высунулась из задней двери и крикнула:

– Эй, лимонада не хотите? Сейчас пол-одиннадцатого. Попейте-ка, а то заживо сваритесь в таком-то пекле.

Три стакана и кувшин с лимонадом Кэлпурния не вынесла им, а поставила за дверь, на задней веранде с таким расчетом, чтобы дети побыли в тени хоть пять минут. Лимонад по утрам летом – это было уж так заведено. Они выпили по три стакана и обнаружили, что последние часы утра истекают и надо их чем-то заполнить.

– Может, сходим на Доббсов луг? – предложил Дилл.

Желающих не нашлось.

– Может, змея запустим? – сказала Джин-Луиза. – Попросим у Кэлпурнии муки...

– Кто это змея летом запускает? – сказал Джим. – Сама же видишь – ни ветерка.

Термометр на задней веранде показывал девяносто два градуса^[18], в знойном мареве подрагивал в отдалении гараж, и ни единого листочка не шевелилось на двух гигантских сиренях.

– Во, я придумал! – сказал Дилл. – Давайте устроим молитвенное собрание!

Все трое переглянулись. Это было дельное предложение.

Когда наступали самые знойные дни, в Мейкомбе устраивали хотя бы одно молитвенное собрание религиозных возрожденцев. Обычно приходские священники всех трех имевшихся в городе церквей – методистской, баптистской и пресвитерианской – в складчину приглашали заезжего проповедника, а если не могли договориться, кого именно позвать или сколько ему заплатить, каждая община устраивала собственное действо, куда приглашали всех желающих, и в итоге граждан побуждали к духовному возрождению три недели кряду. На это время объявлялась война – воевали с грехом, с кока-колой, с кинематографом, с охотой по воскресеньям; воевали с нарастающей тягой девушек краситься и курить на людях, воевали с употреблением виски – так что в сезон не менее пятидесяти детей выходили к алтарю и клялись, что пить, курить и ругаться будут лишь по достижении двадцать одного года; воевали с чем-то еще таким туманным, что Джин-Луиза никак не могла уразуметь, о чем речь, кроме того, что клясться было не в чем; воевали между собой городские дамы за право лучше всех угостить евангелиста. Местные пастыри тоже целую неделю получали бесплатный стол, отчего злые языки позволяли себе непочтительные намеки: мол, те нарочно делают так, чтобы службы в церквях шли отдельно, и получают таким образом вознаграждение еще за две недельки. Разумеется, это был поклеп.

В ту неделю Джим, Дилл и Джин-Луиза три вечера сидели на отведенных детям местах в баптистской церкви (как раз настал черед баптистам) и слушали преподобного Джеймса Эдварда Морхеда, знаменитого проповедника из Северной Джорджии. Так им, по крайней мере, сказали – сами-то они мало что понимали из его речей, кроме описаний ада. Ад, насколько поняла Джин-Луиза, был и навсегда пребудет огненным озером размером как раз с Мейкомб, штат Алабама, обнесенным кирпичной стеной в двести футов высоты. Сатана подхватывает грешников на вилы и швыряет за ограду, и они там веки вечные кипят в бульоне из жидкой серы.

Преподобный Морхед был длинный унылый человек, имевший

привычку сутулиться и давать своим проповедям неожиданные заглавия. («Заговоришь ли ты с Иисусом, если повстречаешь его на улице?». Преподобный Морхед сильно сомневался, что тебе удастся, даже если придет охота, потому что Иисус скорей всего говорил по-арамейски.) На второй день проповедь называлась «Возмездие за грех». В это самое время в местном кинотеатре шел одноименный фильм (дети до 16-ти не допускались): Мейкомб решил, что о фильме речь и пойдет, и послушать пастора собрались все от мала до велика. Ожидания паствы были жестоко обмануты. Морхед три четверти часа занимался грамматической казуистикой (как правильной сказать: «возмездие за грех – смерть» или «возмездие за грехи – смерть» и что имеется в виду в том и в ином случае), причем увел рассуждения о различии понятий на такую глубину, что и Аттикус Финч затруднился бы сказать, куда преподобный клонит и к чему сам склоняется.

Джим, Дилл и Джин-Луиза померли бы с тоски, если бы у преподобного Морхеда не было единственного в своем роде дара, просто завораживающего детвору. Он, когда говорил, присвистывал. Между передними зубами (Дилл божился, что они вставные, а просто выглядят как свои) у него была расщелина, благодаря которой из уст исходил убийственно отчетливый свист каждый раз, как он произносил слово хотя бы с одним «с». «Закоснетъ», «Иисус», «Христос», «страдание», «по рассуждению человеческому» постоянно слышались в каждой проповеди, и усердие, с которым троица внимала им, вознаграждалось двояко: во-первых, ни один пастор не мог обойтись без этих слов, по меньшей мере семь раз за вечер гарантировавших слушателям беззвучные корчи тайного наслаждения; во-вторых, благодаря своему пристальному вниманию Джим, Дилл и Джин-Луиза считались самыми воспитанными детьми во всей общине.

На третий день религиозного возрождения, когда они и еще несколько детей вышли и во всеуслышание признали Господа Иисуса своим личным Спасителем, все трое стояли, уставившись в пол, потому что преподобный Морхед складывал руки у них над головой и дошел до: «...с-совет не-честивых и не с-стоит на пути грешных». Дилла от хохота скорчило так, что проповедник попросил Джима: «Выведи мальчугана на свежий воздух. Его обуял восторг».

А теперь Джим сказал:

– Знаешь чего? Пошли к тебе во двор, к пруду.

Дилл сказал, что в самый раз, а амвон они смастерят из ящичков.

Двор Финчей от двора мисс Рейчел отделяла подъездная гравийная

дорожка. А в боковом дворе мисс Рейчел был пруд, окруженный кустами азалии, кустами роз, кустами камелий, кустами гардений. В пруду, в тени, среди широколистных кувшинок, водились старые жирные серебряные караси и сколько-то лягушек и тритонов. Большое фиговое дерево с раскидистой ядовитой листвой нависало над изрядным куском двора, и там всегда было прохладнее. Мисс Рейчел расставила вокруг кое-какую садовую мебель, а под фиговым деревом стояли козлы.

В коптильне у мисс Рейчел они нашли два порожних ящика и соорудили перед прудом алтарь. Дилл занял место за ним.

– Я буду мистер Морхед, – сказал он.

– Нет, я! – сказал Джим. – Я старше.

Ладно, – сказал Дилл.

– А вы с Глазастиком будете прихожане.

– Нам будет нечего делать, – ответила Джин-Луиза. – Больно надо сидеть тут целый час и слушать тебя, Джим Финч.

– Вы можете пожертвования собирать. И петь хором.

Прихожане притащили два садовых стула и уселись лицом к алтарю.

– Ну, давайте, пойте чего-нибудь, – сказал Джим.

Джин-Луиза и Дилл запели:

О, Благодать, глас нежный твой
От скверны мне спасенье:
Заблудшего вернул домой,
Слепцу послал прозренья. А-минь.

Джим обхватил руками амвон, подался вперед и сказал проникновенно:

– Как же приятно видеть вас всех здесь нынче утром. Это в самом деле *доброе* утро.

– А-минь, – отозвался Дилл.

– Разве не хочется вам, братья и сестры, в такое утро настезь распахнуть сердца навстречу Господу и спеть? – спросил Джим.

– Й-еще бы, сэр, – ответил Дилл, который из-за крепкого сложения и малого роста всегда играл характерные роли, и превратился в хор:

В час, когда труба Господня вострубит,
и над землей
День Предвечного зажжет зарю свою,

И на Божью переключку призовут
спасенных строй,
Буду я стоять в том праведном строю.

Пастор и паства подхватили. Распевая, Джин-Луиза слышала издали зов Кэлпурнии. Она отмахнулась, чтобы этот комариный писк не лез в уши.

Побагровевший от усилий Дилл заполнил первый ряд.

Джим нацепил на нос воображаемое пенсне, откашлялся и сказал:

– Братья и сестры, «Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте». – Потом пенсне сдернул и, протирая его, повторил басовито: – «Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте».

– Пора собирать пожертвования, – сказал Дилл, и пришлось отдать ему два пятицентовика, лежавшие у нее в кармане.

– Только потом вернешь.

– Тихо вы! – шикнул на них Джим. – Теперь проповедь.

И прочел такую долгую, такую скучную проповедь, какой Джин-Луиза в жизни своей не слышала. Он говорил, что ничего нет на свете греховнее греха, и что никто из согрешивших не достигнет преуспевания, и что блажен муж, который сидит в собрании развратителей^[19], короче говоря, повторил на свой лад все, что слышал за последние три дня. Голос его то уходил в самые низы, то взвивался до визга, а сам он так махал руками, словно земля разверзлась перед ним и он искал опоры.

– Где Сатана? – спросил он и указал прямо на прихожан. – Здесь, в Мейкомбе, штат Алабама.

Потом завел было речи о преисподней, но Джин-Луиза сказала:

– Хорош, Джим, кончай, – потому что живописаний преподобного Морхеда хватит ей по гроб жизни. Тогда Джим на ходу сменил тему и заговорил о небесах: на небесах полно бананов (Дилл их обожал) и тушеной со сливками картошки (ее любимой), и когда они умрут, все отправятся туда есть всякие вкусности до самого Страшного Суда, но вот после Страшного Суда Господь, который со дня их рождения записывает в книге все, что они сделали, отправит всех троих в ад.

Закругляя службу, Джим сказал: мол, кто хочет соединиться с Господом, шаг вперед. Она шагнула.

Джим положил ладонь ей на темя и осведомился:

– Девушка, ты раскаиваешься?

– Да, сэр, – ответила она.

– А была ли ты крещена?

– Нет, сэр.

– Тогда... – Джим сунул руку в черную воду пруда и смочил Джин-Луизе голову. – Крещу тебя...

– Эй, минуточку! – крикнул Дилл. – Так не по правилам.

– По правилам, по правилам, – сказал на это Джим. – Мы с Глазастиком методисты.

– Мало ли что! Мы-то играем в баптистскую службу. Надо Глазастика окунуть в купель. Я, наверно, тоже окрещусь. – Дилл увлекся, воображая предстоящую церемонию, и отказываться от такой роли ни за что не хотел. – Я баптист! – твердил он. – Я баптист, мне положено принять крещение в баптистерии.

– Знаешь что, Дилл-крокодил?! – сказала она с угрозой. – Я целое утро так сидела, ничего не делала. А ты пел гимн, ты собирал пожертвования, и прихожане в первом ряду тоже ты был. Так нечестно! Дай мне!

Она стиснула кулаки, отвела левую руку и покрепче уперлась ногами.

Дилл слегка попятился.

– Кончай, Глазастик.

– Она права, Дилл, – сказал Джим. – А ты зато будешь мой помощник. – Потом перевел взгляд на нее: – Глазастик, ты лучше разденься, а то все промокнет.

Джин-Луиза стянула комбинезон – единственное, что на ней было.

– Смотрите не утопите меня, – сказала она. – И не забудьте мне нос зажать.

Она встала на бетонную закраину. Вынырнул престарелый карасик, глянул злобно и снова скрылся в темной воде.

– А глубоко тут? – спросила Джин-Луиза.

– Фута два всего, – ответил Джим и повернулся к Диллу за подтверждением. Но тот уже во весь дух неся к дому мисс Рейчел.

– Он чего, спятил, что ли? – спросила Джин-Луиза.

– Не знаю. Давай подождем, может, вернется.

Джим предложил отогнать всю живность на другой конец пруда, чтобы Джин-Луиза ненароком не задавила кого-нибудь, и они наклонились над водой, как вдруг позади раздалось угрожающее «У-у-у-у!».

– У-у-у-у! – провыл Дилл из-под двуспальной простыни, в которой он прорезал дырки для глаз. Потом вскинул руки над головой и подскочил к Джин-Луизе: – Ну чего? Готова? Шевелись, Джим, а то жарко мне.

– Вот неймется человеку, – сказал Джим. – А ты кто будешь?

– Я буду Святой Дух, – скромно сказал Дилл.

Джим взял ее за руку и завел в пруд. Вода оказалась теплая, какая-то осклизлая, а дно – скользкое.

– Один раз только окунешь, – сказала Джин-Луиза.

Джим стоял на бортике. Окутанная белым полотнищем фигура тоже приблизилась вплотную, молотя руками воздух. Джим опрокинул Джин-Луизу и пихнул вниз. Уже из-под воды она услышала, как Джим говорит нараспев:

– Джин-Луиза Финч, крещу тебя во имя...

Бац!

Розга в руке мисс Рейчел безошибочно нашла у Святого Духа слабое место – его мягкое место. Путь назад Диллу был отрезан, и потому он живо скакнул вперед и присоединился к Джин-Луизе. Мисс Рейчел безжалостно хлестала по взбаламученной ряске на воде, где мелькали листья кувшинок, простыня, руки и ноги.

– Вылезай сию минуту! – пронзительно вопила мисс Рейчел. – Я покажу тебе, Чарльз Бейкер Харрис, Духа Святого! Я научу тебя кромсать мое лучшее постельное белье! Дырки в нем резать! Господне имя всуе поминать! Вылезай из воды, кому сказано?!

– Ну хватит, тетя Рейчел, – пробулькал Дилл из-под воды. – Я больше не буду!

Его попытки высвободиться, сохранив достоинство, едва ли увенчались успехом: из воды на закраину вылезло какое-то мелкое морское чудище, облепленное простыней и зеленой тиной, обвитое гирляндами водорослей. Дилл замотал головой, силясь их стряхнуть, и мисс Рейчел отпрянула от тучи брызг.

За ним следом выбралась Джин-Луиза. Она наглоталась воды, и потому в носу ужасно щипало, а дышать было больно.

Мисс Рейчел племянника больше не тронула, но свистнула в воздухе прутом, прибавив:

– Марш домой!

Брат и сестра смотрели им вслед, покуда те не скрылись за дверью дома. Жалко Дилла, что тут скажешь?

– Пошли, – сказал Джим. – Время уж небось к обеду.

Они развернулись к дому и на дорожке увидели Аттикуса.

Рядом с ним стояла какая-то незнакомая дама и преподобный Джеймс Эдвард Морхед. И стояли они, похоже, уже довольно давно.

Аттикус, на ходу снимая пиджак, пошел навстречу. Горло у Джин-Луизы перехватило, коленки затряслись. Лишь когда он накинул пиджак ей на плечи, она сообразила, что предстала пастору в чем мать родила.

Кинулась было бежать, но Аттикус поймал ее за загривок и сказал:

– Иди к Кэлпурнии. С черного хода.

Кэлпурния поставила ее в ванну и принялась зверски отскребать от ила, бормоча:

– Утром мистер Финч позвонил, сказал, к обеду преподобный с женой будут. Я вас обыскалась, звала-звала чуть не до посинения. Почему не отзывались?

– Не слышали, – соврала она.

– Ну, вот и выбирай, старуха, – то ли пирог печь, то ли за детьми рыскать по всей округе. Либо то, либо это. И не совестно вам? Этак вы отца вконец уморите.

Джин-Луизе показалось, что костлявый палец сейчас проткнет ей ухо насквозь.

– Больно, – сказала она.

– Если он из вас обоих дурь не выбьет, я этим займусь, – посулила Кэлпурния. – Вылазь живо.

Едва не содрав кожу, Кэлпурния растерла ее грубым полотенцем, потом велела поднять руки над головой. Всунула ее в жестко накрахмаленное розовое платице, потом, двумя пальцами крепко держа за подбородок, продрала волосы острыми зубьями гребешка. Швырнула к ногам пару лакированных туфель:

– Обувай давай.

– Я застегивать не умею, – сказала она.

Кэлпурния грохнула крышкой унитаза и посадила Джин-Луизу. Та смотрела, как большие корявые пальцы принялись за деликатное дело – просовывать перламутровые пуговики в тугие, слишком маленькие петельки – и восхищалась тем, какая мощь в этих руках.

– Теперь иди к отцу.

– А где Джим?

– Моется в ванной мистера Финча. Ему я доверяю – сам справится.

В гостиной они с Джимом чинно сели на диван. Аттикус и преподобный Морхед толковали о чем-то неинтересном, а миссис Морхед, не таясь, смотрела на детей. Джим ей улыбнулся. Ответной улыбки не последовало, и Джим сдался.

Ко всеобщему облегчению, Кэлпурния позвонила в колокольчик, приглашая к столу. За столом посидели в неловком молчании, затем Аттикус попросил Морхеда прочесть молитву. И преподобный вместо того, чтобы испросить благословения для всех, воспользовался случаем сообщить Господу о проступках Джима и Джин-Луизы. Когда дело дошло

до объяснений, что дети растут без материнского пригляда и ласки, она вся уже совсем съежилась. Покосилась на Джима: тот сидел, уткнув нос в тарелку, и уши его пылали. Она подумала, что, наверно, Аттикус не знает, куда глаза деть со сраму, и оказалась права: когда преподобный Морхед сказал наконец «аминь» и Аттикус вскинул голову, из-под очков у него ползли по щекам две крупные слезы. Да, на сей раз они с Джимом расстроили отца всерьез. Внезапно он сказал: «Прошу прощения», – резко встал и вышел на кухню.

Кэлпурния, осторожно ступая, внесла тяжеленный поднос. Когда в доме бывали гости, она вела себя совсем иначе. Говорить она умела не хуже самого Джеффа Дэвиса^[20], но при гостях нарочно коверкала язык, тарелки подавала с нестерпимо высокомерным видом и на каждом слове придыхала. Когда подошла к Джин-Луизе, та сказала: «Извините, пожалуйста», – и, обхватив ее за шею, притянула к себе.

– Кэл, – прошептала она, – Аттикус что, сильно огорчился?

Кэлпурния выпрямилась, поглядела на нее сверху вниз и во всеуслышание ответила:

– Мистер Финч? Да еще чего, мисс Глазастик. Он там со смеху помирает на заднем крыльце.

Мистер Финч? Он там со смеху помирает. Колеса, под которыми теперь был не бетон, а грязь, зашуршали иначе, и Джин-Луиза очнулась. Запустила пальцы в волосы. Потом открыла бардачок, вытащила сигареты, закурила.

– Почти приехали, – сказал Генри. – Где ты витала? В Нью-Йорке со своим парнем?

– Да так, задумалась... Вспоминала, как мы возрождали веру. Тебя тогда не было.

– И слава богу. Коронный номер доктора Финча.

Джин-Луиза рассмеялась:

– Дядя Джек припоминает мне это уже лет двадцать, а мне до сих пор неловко. Знаешь, Диллу-то мы ведь забыли сообщить, что Джим умер. Кто-то послал ему вырезку из газеты. Так и узнал.

– Всегда так бывает, – сказал Генри. – Забываешь самых старых друзей. Как считаешь, он вернется когда-нибудь?

Джин-Луиза покачала головой. Дилл попал в Европу, когда служил в армии, да там и остался. Уродился таким, что на месте ему не сиделось. Когда рядом все те же люди, а вокруг – все те же виды, в нем просыпался маленький кровожадный тигр. Интересно, где окончится его жизнь? Уж

наверняка не на тротуарах Мейкомба.

Свежий ветер с реки прорезал вечернюю жару.

– Приехали, мадам! «Пристань Финча»! – объявил Генри.

Триста шестьдесят шесть ступенек шли вниз по крутому утесу к большой пристани над самой рекой. Широкая, ярдов триста, поляна тянулась от обрыва в лес, а с дальнего ее края уходила и скрывалась среди темных деревьев двухколейная дорога. Она упиралась в двухэтажный белый дом, опоясанный верандами.

Нельзя сказать, что старый Финчев Дом очень сильно продвинулся на пути к упадку, но можно – что сохранился он великолепно: ныне там помещался охотничий клуб. Несколько бизнесменов из Мобила арендовали землю вокруг, а самый дом купили и устроили там то, что люди в Мейкомбе почитали частной игорной обителью греха и притоном порока. Они ошибались, хотя в зимние вечера стены старого дома ходуном ходили от развеселого мужского гомона, а время от времени оглашались и выстрелами (от полноты чувств, а не по злобе). Пусть играют в покер, пьянствуют и веселятся до упаду, думала Джин-Луиза, лишь бы только стены не рушили.

У дома была обычная для Юга история: дед Аттикуса Финча приобрел его у дядюшки известной отравительницы, действовавшей по обе стороны Атлантики, но происходившей из старинного алабамского семейства. В этом доме родились и отец Аттикуса, и сам Аттикус, и сестры его Александра и Кэролайн (вышедшая потом замуж за жителя Мобила), и Джон Хейл Финч. Семейные празднества на вышеупомянутой поляне устраивались до тех пор, пока – уже на памяти Джин-Луизы – окончательно не вышли из моды.

Прапрадед Аттикуса Финча, английский методист, осел на берегу реки вблизи Клейборна и произвел на свет семь дочерей и одного сына. Все они пережились с потомками Мейкомбовых солдат, наплодили многочисленное потомство и образовали то, что в округе называлось «Восемь Семей». По прошествии известного срока собиравшимся на ежегодное торжество потомкам становилось тесно, и возникала необходимость вырубить еще сколько-то леса под пикники, что и объясняет нынешние размеры поляны. Впрочем, служила она не только для семейных празднеств: негры играли здесь в баскетбол, в былые безмятежные дни устраивал свои сборища Ку-клукс-клан, а уже при Аттикусе проводились грандиозные турниры, и местные джентльмены выходили на поединки, сражаясь за почетное право отвезти своих дам в Мейкомб на пышное пиршество. (По словам тетушки Александры, она и замуж-то пошла за

дядю Джимми потому, что пленилась тем, как он скакал галопом с тупым копьём наперевес.)

Опять же в Аттикусовы времена Финчи перебрались в город: сам Аттикус изучал право в Монтгомери, а потом вернулся практиковать в Мейкомб; туда же, покоренная ловкостью дяди Джимми, переехала тетушка Александра; Джон Хейл Финч уехал в Мобил и поступил на медицинский факультет; а Кэролайн в семнадцать лет убежала из дому и тайно обвенчалась. Когда их отец умер, землю начали сдавать в аренду, но мать уперлась. И не тронулась с насиженного места, и глядела, как землю вокруг нее сдадут и распродают по кусочкам. После смерти матери остались только дом, поляна и пристань. Дом пустовал, пока его не купили джентльмены из Мобила.

Порой Джин-Луизе казалось, что она помнит бабушку. Впервые увидев картину Рембрандта, портрет старухи в чепце и плоеном воротничке, она сказала: «Вот же она!» Аттикус ответил, что нет, ни малейшего сходства. Но Джин-Луизе все чудилось, будто давным-давно ее приводили в какую-то полутемную комнату, где сидела старая-старая дама, одетая во все черное и с белым кружевным воротничком.

Ступеньки к пристани назывались, конечно, «високосными», и в детстве на семейных торжествах Джин-Луиза и орава ее кузенов и кузин, игравшие над обрывом, доставляли родителям немалые волнения, пока не было решено детей схватить и разделить на две категории – тех, кто умеет плавать, и кто не умеет. Не умеющих отправляли на тот конец поляны, что примыкал к лесу, где им полагалось забавляться безобидными играми; умеющие резвились на ступеньках под ненавязчивым присмотром двух чернокожих парней.

Охотничий клуб следил, чтобы лестница была в приличном виде, а пристань приспособил для своих судов. Состояли в клубе люди ленивые – им проще было пройти вниз по течению, а потом на веслах добраться до Уинстонова болота, чем пробиваться через подлесок и сосновые заросли. Ниже по реке, за обрывом, еще сохранились останки старой пристани, где когда-то чернокожие рабы грузили на баркасы тюки хлопка-сырца, зерно и прочее, а выгружали муку, лед, сахар, всякие сеялки-веялки-молотилки и дамские туалеты. Пристанью Финча пользовались только путешественники – головокружительная крутизна ступеней давала дамам прекрасный повод лишиться чувств, а у старой пристани выгружали только багаж: сойти на берег на глазах у негров было немыслимо.

– Как, по-твоему, лестница цела?

– Цела, конечно, – ответил Генри. – Клуб чинит. Мы с тобой, между

прочим, совершаем незаконное проникновение.

– Да пошли бы они. Пусть только попробуют не дать Финчам пройти по собственной земле. – Она осеклась. – Подожди, ты что говоришь?

– Пять месяцев назад продали последнее.

– А мне словечком не обмолвились, – сказала на это Джин-Луиза.

И сказала так, что Генри на миг приумолк.

– Тебе не все равно?

– Совершенно все равно. Но лучше бы сказали.

Генри ее слова не убедили.

– Вот объясни ты мне, ради Бога, какой прок был от этого мистеру Финчу?

– Прока – ни малейшего, если вспомнить про всякие налоги. И все же я бы хотела, чтобы мне сказали заранее. Не люблю сюрпризы.

Генри засмеялся. Потом наклонился, взял пригоршню серого песка.

– Настоящая южанка, а? Чур, я буду Джеральд О’Хара^[21].

– Прекрати, Хэнк, – сказала она мягко.

– Остальным до тебя далеко, мне кажется. Мистеру Финчу – семьдесят два года, а тебе, когда речь заходит о таких вот вещах, – все сто.

– Просто мне не нравится, когда вторгаются в мой мир, да еще без предупреждения. Сходим на пристань?

– Неужели не устала?

– Да я тебя загоняю!

И они побежали. На лестнице Джин-Луиза ощутила под пальцами холодный металл. И остановилась. В прошлом году железных перил еще не было. Хэнк сильно опередил ее, но все же она попыталась его догнать.

Когда, задохнувшись от бега, она добралась до причала, Генри уже растянулся на дощатом настиле.

– Осторожно, не выпачкайся, тут деготь, – сказал он.

– Старею, – сказала она.

Молча покурили. Генри подложил руку ей под голову, временами поворачивался и целовал. Она смотрела в небо:

– Так близко – как будто дотянуться можно.

– Ты это серьезно, что не любишь, когда вторгаются в твой мир?

– А? – Джин-Луиза сама не знала. Да, наверно. И попыталась объяснить: – Понимаешь, каждый раз, как приезжаю домой... Уже лет пять... да нет, даже раньше, даже из колледжа... Каждый раз еще что-то меняется...

– ...и ты не уверена, что перемены эти к лучшему?

В лунном свете она различала усмешку у него на губах.

Приподнялась и села.

– Не знаю, как объяснить... когда живешь в Нью-Йорке, чувствуешь иногда, что Нью-Йорк – это не весь мир. Ну то есть – каждый раз, как я приезжаю сюда, я будто возвращаюсь в мир, а когда уезжаю из Мейкомба – покидаю мир. Так глупо...

Не могу объяснить... а глупей всего, что в Мейкомбе я бы, наверно, спятила.

– А вот и не спятила бы. Я на тебя не давлю, ответа не требую – тихо-тихо, не рвись, – но тебе пора кое-что решить, Джин-Луиза. Ты увидишь перемены, ты увидишь, как у нас на глазах Мейкомб станет неузнаваем. Знаешь пословицу «Один пирог два раза не съешь»? Ты хочешь остановить время – и не можешь. Рано или поздно придется выбирать – Мейкомб или Нью-Йорк.

Он ведь почти понял. Я выйду за тебя, Хэнк, если ты привезешь меня сюда, на «Пристань Финча». Ради нее я брошу Нью-Йорк, а ради Мейкомба – нет.

Джин-Луиза взглянула на реку. Берег в округе Мейкомб – крутой и обрывистый, тот, что в округе Эбботт, – плоский и пологий. В сезон дождей река разливалась так, что по хлопковым полям можно было плавать на лодке. Джин-Луиза перевела взгляд выше по течению. Там была когда-то битва. Сэм Дейл разбил индейцев, и вождь Красный Орел бросился с обрыва.

Он думает, что знает взгорье,
Где жизнь его росла, и море,
Куда придется кануть вскоре^[22].

– Ты что-то сказала? – спросил Генри.

– Нет, ничего. Так, романтизм нахлынул... – сказала она. – Да, кстати, тетушка тебя не одобряет.

– Всю жизнь это знал. А ты одобряешь?

– Угу.

– Тогда выходи за меня замуж.

– Посватайся.

Генри сел с нею рядом на край причала. Оба теперь болтали ногами.

– А где мои туфли? – вдруг спросила она.

– Там, где ты их скинула. У машины, – ответил Генри. – Джин-Луиза, послушай меня: теперь я могу содержать нас обоих. А через несколько лет,

если все пойдет как сейчас, мы с тобой вообще заживем на славу. Юг на подъеме, возможности огромны. И в округе достаточно денег, чтобы... что скажешь, если твой муж станет членом законодательного собрания штата?

– Баллотируешься? – удивилась Джин-Луиза.

– Всерьез о том подумываю.

– Против правящей партии?

– Ага. Эта махина вот-вот сама свалится, а я ей помогу грохнутья...

– Честная власть в округе Мейкомб? Боюсь, граждане не переживут такого шока. А Аттикус что думает?

– Он говорит – сейчас самая пора.

– Ты сам-то понимаешь, что тебе будет куда трудней, чем ему в свое время? – Ее отец, один раз выиграв избирательную кампанию, работал в законодательном собрании штата сколько душе угодно – дальше его всегда выбирали единогласно. Случай в истории округа уникальный – ни одна партия не поддерживала его, ни одна партия не выступала против, и больше никаких кандидатов.

Когда он ушел с поста, вакантное место единственного независимого законодателя проворно прибрала к рукам правящая партия.

– Да, будет трудно, но я дам им дрозда. «Судейская орава» спит на ходу – если провести кампанию с толком, жестко, это их встряхнет.

– Милый, я тебе соратницей в борьбе не буду. От политики меня сильно тошнит.

– Ну, если не откроешь кампанию против меня, и то хлеб.

– Восходящая звезда, а? Что ж ты не сказал, что стал Человеком Года?

– Думал, ты будешь смеяться...

– Смеяться, Хэнк? Над тобой?

– Ну да. По-моему, ты постоянно надо мной подсмеиваешься.

Что тут скажешь? Сколько раз она больно задевала его самолюбие?

– Знаешь, – сказала она, – я человек не очень тактичный, но вот клянусь Богом, я никогда над тобой не смеюсь. На словах – может быть, но в душе – никогда.

Она обняла его голову. Почувствовала подбородком черный плюш его стриженных волос. Генри приподнялся, поцеловал, крепче притянул ее к себе, на дощатый настил.

Через некоторое время Джин-Луиза высвободилась:

– Поедем, Хэнк.

– Еще рано.

– Нет, не рано.

– Ненавижу это место за то, что приходится карабкаться назад.

– Один парень в Нью-Йорке не признает лифтов и вверх по лестницам бегаёт как оглашенный. Уверяет, что это спасает от одышки. Не хочешь попробовать?

– Он твой парень?

– Ещё чего.

– Ты мне это сегодня уже говорила.

– Тогда иди к черту.

– И это тоже говорила.

Джин-Луиза подбоченилась:

– А вот хочешь искупаться в чем есть? Этого я сегодня ещё не говорила. Вот как спихну сейчас в воду!

– Ну спихни-спихни!

– И спихну!

Генри схватил ее за плечо:

– Один не желаю! Только вместе с вами, мисс.

– Ладно. Пойду вам навстречу: опорожняйте карманы. Считаю до пяти.

– Вконец вы ополоумели, Джин-Луиза, – сказал он, доставая из карманов деньги, ключи, бумажник, сигареты. Сбросил мокасины.

Они смотрели друг на друга, как бойцовые петухи. Генри прыгнул на нее, но она, уже падая, ухватила его за рубашку и утянула с собой. Молча и стремительно доплыли до середины реки, повернули и медленно возвратились к пристани.

– Подсади меня, – сказала она.

Вода ручьями бежала с них, когда они поднимались по ступенькам.

– Пока до машины доберемся, сто раз успеем высохнуть, – сказал Генри.

– Течение сегодня сильное, – сказала она.

– Черт знает чем мы занимаемся.

– Ещё скажи спасибо, что я не с кручи тебя столкнула. – Она хихикнула. – Помнишь, как миссис Мерриуэзер измывалась над бедным мистером Мерриуэзером? Вот выйду за тебя – так же буду.

Мистеру Мерриуэзеру, если ссора с женой у него приключалась в пути, приходилось солоно. Сам он водить не умел, а миссис Мерриуэзер, если распря чересчур обострялась, останавливала машину, выходила и ловила попутку до города. Однажды они повздорили на проселке, где мистер Мерриуэзер прокуковал семь часов, пока его наконец не подобрал грузовик.

– А вот законодателю ночью не искупаться, – сказал Генри.

– Тогда не баллотируйся.

Машина тронулась. Постепенно прохладу опять сменила душная жара. За лобовым стеклом возникли фары встречного автомобиля – и пролетели мимо. Потом появился другой автомобиль, а потом и третий. Мейкомб уже близко.

Склонив голову на плечо Генри, она была почти довольна жизнью. И думала – а может, и впрямь?.. Хотя... ну какая из меня жена? Я с кухаркой не справлюсь. Не знаю, о чем беседуют дамы, когда сидят в гостях. Мне придется носить шляпку. Я уроню ребенка, и он погибнет.

Внезапно будто огромный черный шмель, с басовитым жужжанием рассекая воздух, пронесся мимо и исчез впереди за поворотом. Ошеломленная Джин-Луиза выпрямилась:

– Что это было?

– Очередная партия негров брутто.

– Да они соображают, черти, что делают?

– В последнее время не столько соображают, сколько воображают. Много – и о себе, – сказал Генри. – Им теперь хватает денег на подержанные машины, вот и гоняют по шоссе как угорелые. Представляют угрозу для общества.

– А права у них есть?

– Мало у кого. Ни прав, ни страховки.

– Господи, а если что-нибудь случится?

– Печально будет.

В дверях Генри нежно поцеловал ее и со словами:

– Завтра вечером? – отпустил.

Она кивнула:

– Доброй ночи, милый.

Держа туфли в руках, она босиком на цыпочках прошла в спальню, повернула выключатель. Разделась, надела пижамную куртку, неслышно проскользнула в гостиную. Зажгла свет, подошла к книжным полкам. Подумала: о черт, – и повела пальцем вдоль корешков книг по военной истории, задержалась на «Второй Пунической войне», остановилась – на «Довод не нужен»^[23]. Взять, может, почитать, сделать приятное дяде Джеку? Вернулась в спальню, выключила люстру, придвинула лампу в изголовье. Легла в кровать, на которой была рождена, прочитала три страницы – и уснула при свете.

Часть III

6

– Джин-Луиза! Джин-Луиза, вставай! Вставай, я говорю!

Голос тетушки ввинтился в ее подсознание, и теперь она силилась встретить утро. Открыла глаза и увидела нависавшую над кроватью Александру.

– М-м-м?..

– Джин-Луиза, как это понять? Вы с Генри купались голыми! Что это значит?

Джин-Луиза села на кровати:

– Что?..

– Я спрашиваю, как понять, что ты и Генри Клинтон ночью голыми полезли в реку?! В Мейкомбе только о том и говорят.

Джин-Луиза головой ткнулась в колени, изо всех сил стараясь проснуться.

– А ты откуда знаешь, тетя?

– Чуть свет позвонила Мэри Уэбстер. Сказала, что вас видели в час ночи посреди реки в чем мать родила.

– Каждому видится то, что хочется, – пожала плечами она. – Деваться, значит, некуда – придется выйти за Генри замуж, а?

– Я... Я, право, не знаю, что и думать, Джин-Луиза... Твой отец не перенесет этого, это убьет его, убьет на месте... Но ты все же постарайся, чтоб он узнал от тебя, а не от добрых людей на углу.

Аттикус меж тем стоял в дверях – руки в карманы.

– Доброе утро, – сказал он. – От чего я умру?

– У меня язык не поворачивается. Пусть Джин-Луиза сама расскажет.

Та незаметно сделала отцу знак, который был принят и понят.

– Ну, не томите, – хмуро сказал Аттикус.

– Мэри Уэбстер на проводе! Ее передовые дозоры засекли, как мы с Хэнком ночью бултыхались в реке и в голом виде.

– Гм, – сказал Аттикус и дотронулся до своих очков. – Бултыхались. Надеюсь, хотя бы не кувыркались?

– Аттикус! – вскричала тетушка.

– Прости, Сандра. Это правда, Джин-Луиза?

– Правда, но не вся. Я бросила тень на честь семьи?

– Переживем, Бог даст.

Тетушка присела на край кровати.

– Значит, все же так оно и было. Джин-Луиза, – сказала она. – Я не знаю, чем вы вообще занимались ночью на «Пристани»...

– То есть как это «не знаешь»? Мэри Уэбстер дала тебе полный отчет. Она утаила, что было потом? Сэр, вас не затруднит подать мне мое неглиже?

Аттикус швырнул ей пижамные штаны. Джин-Луиза натянула их под простыней, простыню откинула и вытянула ноги.

– Джин-Луиза!.. – начала тетушка и осеклась.

Аттикус предъявил ей высохшее, а потому безнадежно мягкое бумажное платье. Положил его на кровать, со стула взял столь же мягкую нижнюю юбку и бросил поверх платья.

– Хватит терзать тетушке душу, Джин-Луиза. Это и есть твои купальные принадлежности?

– Точно так, сэр! Они самые, сэр! Полагаете, следует вздеть их на древко и провезти по городу?

Озадаченная Александра, потрогав одежду, спросила:

– Но как тебе в голову взбрело купаться в одежде? – А когда брат и племянница рассмеялись, добавила: – Ничего смешного тут нет. А если даже и так, люди в Мейкомбе все равно не поверят. С тем же успехом можно было нырять нагишом. Нет, я в самом деле не могу понять, как вы додумались до такого!

– Думаешь, я могу? – сказала Джин-Луиза. – И потом, если тебя это хоть немного утешит, не очень-то получилось весело. Мы начали дразнить друг друга, брат на слабо, и Хэнк уже не мог отступить, и я не могла отступить, а потом неизвестно как мы уже оказались в воде.

Эти слова не произвели на тетушку должного впечатления:

– В твои годы, Джин-Луиза, не пристало вести себя подобным образом!

Джин-Луиза вздохнула и слезла с кровати:

– Ну, виновата. Виновата, – сказала она. – А кофе в этом доме найдется?

– Полный кофейник тебя дожидается.

Джин-Луиза вслед за Аттикусом пришла на кухню. Налила себе чашку кофе, присела к столу.

– Как ты можешь на завтрак пить ледяное молоко, не понимаю.

– Это вкуснее кофе.

– Когда мы с Джимом просили у Кэлпурнии кофе, она всегда говорила: будете кофе пить – станете черней меня. Ты сердишься?

– Да нет, конечно, – фыркнул Аттикус. – Но все же посреди ночи

можно было найти занятие поинтересней, чем откалывать такие номера. Иди одевайся, в воскресную школу пора.

Парадный корсет тетушки Александры был сооружением еще капитальнее, чем корсеты повседневные. Закованная в его броню, она стояла на пороге спальни Джин-Луизы в полной боевой готовности – в шляпке, в перчатках и надушенная.

Воскресенье – ее день: до и после воскресной школы она и еще пятнадцать местных дам-методисток усаживались в церкви и проводили симпозиум, который Джин-Луиза называла «Обзор событий за неделю». Сейчас она жалела, что лишила тетушку субботней отрады: сегодня Александре предстоит отбиваться, но ясно, что оборону она будет держать не менее изобретательно и умело, нежели вела бы наступление, и к началу проповеди репутация племянницы пребудет незапятнанна.

– Ты готова, дитя мое?

– Почти, – ответила она. Мазнула губы помадой, пригладила челку, расправила плечи и обернулась к Александре: – Как я выгляжу?

– Я хоть когда-нибудь увижу тебя одетой целиком? Где шляпка?

– Тетя, ну тебе ли не знать, что если я явлюсь в церковь в шляпке, все подумают – кто-то умер.

Она и вправду надела шляпку раз в жизни – на похороны Джима. Сама не смогла бы объяснить, почему, однако перед отпеванием заставила мистера Гинзберга открыть магазин, выбрала шляпку и нахлобучила на голову, представляя себе, как хохотал бы Джим, если бы увидел – и почему-то от этой мысли ей стало тогда легче.

Доктор Джон Хейл Финч ростом был не выше племянницы, а в той было пять футов семь дюймов. Он унаследовал отцовский горбатый нос, суровую складку губ, высокие скулы. Он походил на свою сестру Александру – впрочем, только лицом: доктор Финч был тонкий, хрупкий, чтоб не сказать – щуплый, а тетушка, что называется, крепко сбита. Это из-за него Аттикус не женился до сорока лет. Дело было так: когда Джону Хейлу пришлось решать, по какой стезе пойти, он избрал медицину. И подгадал со своим выбором, как раз когда фунт хлопка стоил один цент и у Финчей было все, кроме денег. Аттикус, не вполне еще в ту пору укоренившийся в собственной профессии, выгадывал каждый цент, вкладывал его в братнино образование, и в должный час его усилия окупились сторицей.

Доктор Финч выучился, стал практиковать в Нэшвилле, удачно играл на бирже и к сорока пяти годам скопил достаточно, чтобы оставить

медицину и посвятить все свое время первой и неизменной любви – викторианской литературе, благодаря чему заработал в Мейкомбе репутацию человека ученого и патентованного сумасброда.

Доктор Финч черпал из этого кладезя так долго и обильно, что постепенно и в речевой свой обиход ввел причудливые восклицания и вычурно-витиеватые обороты. Он уснащал свою речь хмыканьями и смешками, а тяга к старомодной речи пребывала в неустойчивом равновесии со склонностью употреблять наисовременнейшие словечки. Он был чрезвычайно остер на язык; рассеян; жил бобылем, но производил впечатление человека, которому есть что вспомнить с удовольствием; держал рыжую котикку девятнадцати лет от роду; речи его оставались невняты для большинства жителей Мейкомба, которые не распознавали тонких аллюзий на туманную викторианскую высокопарность.

На первый взгляд он казался не вполне нормальным, но те, кто умел настроиться на его волну, знали, что доктор Финч мыслит столь трезво и здраво, особенно в области биржевой игры, что его друзья, дабы получить дельный совет, готовы были часами слушать даже стихи Макуорта Прейда^[24]. Благодаря долгому и тесному общению с дядей (доктор Финч, когда племянница была еще девчонкой, пытался приохотить ее к наукам) Джин-Луиза научилась понимать предмет его рассуждений так, что почти не теряла нить рассуждений и наслаждалась беседой. И, когда не доводил до безмолвных истерик, дядюшка завораживал ее своей памятью, надежной как медвежий капкан, и обширным, беспокойным умом.

– Доброе утро, Нереида! – целуя ее в щеку, сказал дядюшка: телефон был одной из немногих его уступок двадцатому веку. Поцеловав, отстранил ее от себя и всмотрелся с живым интересом. – Всего девятнадцать часов как приехала, а уже успела дать волю своей обсессивной чистоплотности, хе-хе. Классический пример уотсоновской^[25] поведенческой модели – я, пожалуй, опишу этот случай и пошлю в «Журнал АМА»^[26].

– Заткнись ты, старый шарлатан, – сквозь зубы процедила Джин-Луиза. – Днем собираюсь к тебе заглянуть.

– Вы с Хэнком – там, в реке... шалили... хе-хе – стыдитесь! – позор семьи! Хоть развлеклись?

Занятия в воскресной школе уже начинались, и доктор Финч кивнул на двери:

– Любовник твой, достойный порицанья, ждет тебя внутри.

Джин-Луиза одарила дядюшку взглядом, который ничуть его не смутил, и, собрав столько собственного достоинства, сколько смогла, вошла

в церковь. С улыбкой приветствовала городских методистов, в своей старой классной комнате села у окна и, по своему обыкновению, проспала с открытыми глазами весь урок.

Чтобы почувствовать себя в родимом краю, нет средства лучше, чем этот чудовищный гимн, думала Джин-Луиза. Малейшее ощущение своей чужеродности рассеется и сгинет бесследно, когда сотни две грешников так убедительно просят, чтобы их утопили в алом очистительном потоке. Предъявляя Господу Богу картины, возникшие в воспаленном мозгу мистера Купера, или заявляя, что Любовь ее вознесет, Джин-Луиза ощущала ту теплоту, которая объединяет разных людей, еженедельно на час чувствовавших себя в одной лодке.

Они с тетушкой сидели в середине, в правой части зала; отец и доктор Финч – слева, в третьем ряду. Почему и зачем, оставалось тайной для нее, но с тех пор, как доктор Финч вернулся в Мейкомб, они неизменно сидели там. Невозможно поверить, что они братья, думала она. И никак не скажешь, что Аттикус на десять лет старше.

Он удался в мать, Александра же и Джон Хейл пошли в отца. Аттикус на голову выше брата – широколицый, с прямым носом, с большим тонкогубым ртом – и все же у всех было нечто общее. Дядя Джек и Аттикус сидят одинаково, и глаза у них похожи, вот в чем дело, думала Джин-Луиза. И была права. Родовой приметой всех Финчей были прямые нависшие брови и тяжелые веки; когда они смотрели вбок, вверх или прямо перед собой, беспристрастный наблюдатель отмечал то, что в Мейкомбе именовалось Семейным Сходством.

В размышлениях своих она была потревожена Генри Клинтоном. Он передал одно блюдо для пожертвований вдоль скамьи позади нее и, ожидая, когда второе обойдет тот ряд, где сидела Джин-Луиза, подмигнул ей открыто и со значением. Александра заметила и всем видом своим выразила крайнее, хоть и безмолвное, негодование. Генри и его напарник вышли по центральному проходу и в благоговении стали у алтаря.

Едва все желающие внесли посильную лепту, мейкомбские методисты затянули славословие, заменяя им молитву над собранными пожертвованиями и тем самым разделяя с пастором его тяготы – иначе ему пришлось бы прочесть еще одну молитву, а он уже трижды обращался к Богу с пространными просьбами. В Мейкомбе, сколько себя помнила Джин-Луиза, это славословие исполняли так – и только так:

Восславим – Бога – дела – всеблагие,

что было у южан-методистов такой же нерушимой традицией, как Одаривание Преподобного^[27]. А в это воскресенье, пока Джин-Луиза и все прихожане в полнейшей невинности своей откашливались, готовясь вытянуть напев должным и привычным образом, вдруг, как гром среди ясного неба, грянул орган миссис Клайд Хаскинс:

ВосславимБогаде – ла все – бла – гие
СлавьтеЕговсетва – ри зем – ные,
Выангелыснеба, вое – славь – те снова
ОтцаиСынаи – Ду – ха Святого!

Воцарилось такое смятение, что если бы перед алтарем возник внезапно архиепископ Кентерберийский в полном облачении, Джин-Луиза не удивилась бы ни капли: прихожане не сумели заметить новаций в исполнении и довели славословие, на котором возрастали, до победного конца и именно так, как привыкли, покуда миссис Хаскинс рвалась вперед, гремя, как в соборе Солсбери.

Сначала Джин-Луиза решила, что рассудка лишился Герберт Джемсон. Герберт Джемсон состоял в должности регента Мейкомбской Методистской церкви с незапамятных времен. Он был рослый, добродушный, обладал мягким баритоном, легко управлял хористами, которым не давал стать солистами, и помнил наизусть любимые гимны всех школьных инспекторов округа и штата. В многообразии церковных войн, которые были неотъемлемой частью мейкомбского методизма, на Герберта можно было положиться: он не терял выдержки, сохранял здравый смысл и умел примирять самых пещерных членов общины с местными младотурками. Тридцать лет верой и правдой служил он церкви, отдавая ей свой досуг, и церковь в признание заслуг наградила регента поездкой в методистский музыкальный лагерь в Южной Каролине.

Вторым побуждением Джин-Луизы было возложить ответственность на пресвитера. Тот был молод, звался мистер Скотт, и доктор Финч говорил, что ни один из знакомых ему мужчин моложе пятидесяти не наделен таким даром наводить тоску. Никаких особенных пороков и недостатков за ним не числилось, если не считать, что его навыки и душевные качества были бы идеальны для лицензированного общественного бухгалтера – мистер Скотт людей не любил, в цифрах разбирался отлично, был лишен чувства юмора и несколько туповат.

Поскольку община в Мейкомбе на протяжении многих лет была слишком мала, чтобы позволить себе хорошего пастыря, но слишком велика для пастыря посредственного, город был приятно удивлен, узнав, что на последней конференции епископы приняли решение отрядить к своим методистам энергичного молодого пресвитера. Однако не прошло и года, как впечатление, производимое им на общину, достигло такой силы, что побудило доктора Финча однажды в воскресенье заметить как бы про себя, но вслух: «Мы просили пастыря, а к нам приехал скот».

Мистера Скотта давно уж подозревали в либеральном вольнодумстве: многие считали, что он слишком тесно дружит с единоверцами-северянами; недавно его довольно сильно помяли в результате богословского спора об Апостольском Символе веры; и в довершение бед он был сочтен человеком честолюбивым. Но обвинение, которое предъявила ему Джин-Луиза, рассыпалось в прах, когда она вспомнила, что у Скотта имеется железное алиби – он напрочь лишен слуха.

Оставшись совершенно невозмутим пред лицом измены, совершенной Гербертом Джемсоном, благо ее не заметил, мистер Скотт поднялся со своего места и взошел на амвон с Библией в руках. Открыл ее и сказал:

– Разберем сегодня шестой стих двадцать первой главы Книги пророка Исаяи:

Ибо так сказал мне Господь:
Пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает,
что увидит.

Джин-Луиза честно попыталась вникнуть, что же увидел сторож мистера Скотта, но изумление, обуявшее ее вопреки всем усилиям его подавить, переросло в досаду и даже негодование, и она лишь сверлила взглядом Герберта Джемсона. Да как он посмел изменить мелодию? Он что, решил вести их назад, в лоно всеобщей Матери-Церкви? Прислушайся Джин-Луиза к гласу разума, к доводам рассудка, она поняла бы, что регент был методистом цельнокроеным – в богословии разбирался крайне слабо, зато был мастак по части добрых дел.

Отпели славословие, сейчас воскурят ладаном – «ортодоксия – моя девка...»^[28] Кто это сказал? Один из любимых епископов дяди Джека или он сам? Она повела глазами вбок, увидела четкий очерк дядиного профиля. Похоже, гневается.

Мистер Скотт все бубнил... Христианин может освободиться от

разочарований нынешней жизни посредством... каждую среду приходиться на Семейный Вечер и приносить с собою сотейник... пребывайте в мире ныне и присно, аминь.

Пресвитер благословил паству и направился к двери. Джин-Луиза кинулась наперерез Герберту, который замешкался, пока закрывал окна, однако доктор Финч оказался проворней.

– ...не стоило бы так исполнять славословие, Герберт, – начал он еще на ходу. – Мы все же методисты, Д. В.

– Я тут ни при чем, доктор Финч. – Герберт замахал руками, словно отбиваясь от нападения. – Как научили в лагере Чарльза Уэсли, так и поем.

– Вы же не смиритесь с этим безропотно? Кто вас научил? – Доктор Финч так втянул нижнюю губу, что она сделалась почти невидимой, а потом с хлопком выпятил.

– Инструктор. Объяснял нам, что плохо в церковной музыке Юга. Сам он из Нью-Джерси.

– Объяснял, что плохо?

– Именно так.

– И что же, по его мнению, в ней плохо?

– Он говорил, что в нашей манере не гимны исполнять, а «Сунь хоботок под этот сток, вести благой вкуси чуток». Еще сказал, что церковное право должно запретить Фанни Кросби^[29], а исполнять «Твердыню вечную»^[30] – мерзость перед Господом.

– Да неужели?

– Сказал, что славословие надо исполнять энергичнее.

– Энергичнее? Это как?

– Вот как сегодня.

Доктор Финч опустился на скамью в первом ряду. Закинул руку на спинку и задумчиво пошевелил пальцами. Потом взглянул на Герберта.

– По всей видимости, – сказал он, – по всей видимости, нашим братьям-северянам мало той бурной деятельности, которую развил Верховный суд. Теперь они вздумали переделывать наши гимны.

– Еще он сказал, что надо избавиться от южных гимнов и выучить новые. Мне не понравилось – у тех, что ему по душе, даже мелодии нет.

«Ха!» доктора Финча прозвучало еще саркастичней, чем обычно, – явный признак того, что выдержка ему изменяет. Но все же он сумел произнести:

– Южные гимны, вы сказали, Герберт? Южные гимны?

Потом положил руки на колени и выпрямился.

– Ну хорошо, Герберт, – сказал он. – Давайте-ка сядем в этом святилище и спокойно разберемся. Ваш наставник, я вижу, хочет, чтобы мы исполняли «Славословие» в точности как англикане, а потом сам же себе противоречит – совершенно противоречит себе, – предлагая выкинуть «Пребуди со мной»? Так?

– Так.

– Перетак!

– Что? Простите, сэр?

– А «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал»?

– И его тоже. Он составил целый список.

– Да что вы говорите?! Список? Я полагаю, «Вперед, солдаты Христа»^[31] там имеется?

– Во первых строках.

– Еще бы... – сказал доктор Финч. – Лайт, Айзек Уоттс, Сабина Баринг-Гулд.

Последнее слово он выговорил, как принято в округе Мейкомб: расчленив на слоги и нараспев протянув «а» и «и».

– Все как один англикане. Англикане, Герберт, истые, чистые и неподдельные. Их, значит, выкинуть, но при этом «Славословие» петь, как принято в Вестминстерском аббатстве? Так... Теперь послушайте, что я вам скажу...

Джин-Луиза смотрела то на Герберта, который согласно кивал, то на дядюшку, который выглядел сейчас как Теобальд Понтифекс^[32].

– ...этот ваш инструктор – самый распоследний сноб.

– Он... как бы это сказать, сэр... из тех, кого в школе дразнят «гогочками».

– Ну еще бы. И вы что же – намерены следовать его инструкциям?

– Боже упаси, – сказал Герберт. – Хотел просто разок попробовать, удостовериться в том, о чем и так догадывался. Община это никогда не выучит. Да и потом, мне нравятся старые.

– Разделяю ваш вкус, – сказал доктор Финч, встал и подставил племяннице согнутую крендельком руку. – Мы встретимся с вами в следующее воскресенье, в это самое время, и если я увижу, что церковь не вернулась на землю, спрошу с вас лично.

По выражению его глаз Герберт понял, что это шутка. И засмеялся:

– Не беспокойтесь, сэр.

Доктор Финч повел Джин-Луизу к машине, где дожидались Аттикус и Александра.

– Подвезти тебя?

– Нет, конечно. – Доктор Финч имел обыкновение каждое воскресенье ходить в церковь и обратно пешком, невзирая, как он говорил, на ураганы, палящий зной или трескучий мороз.

Когда он уже шагнул прочь, Джин-Луиза окликнула:

– Дядя Джек, что такое «Д. В.»?

Доктор Финч со вздохом вскинул брови, обозначив на лице любимое выражение «Боже-до-чего-же-невежественны-нынешние-барышни», и ответил:

– Сокращение от *Deo volente*, что по-латыни значит «если на то Божья воля». Испытанная католическая формула.

В сырое воскресенье, ровно в 2.28 пополудни Джин-Луиза уподобилась личинке муравьиного льва, которую жестокий шалун вытащил из норки и бросил на солнцепек – ее тоже извлекли из уютного и покойного мира и оставили в одиночку защищать свой чувствительный кожный покров. Этому предшествовали следующие обстоятельства.

После обеда, за которым она угощала домашних дядюшкиными суждениями о тонкостях исполнения гимнов, Аттикус с воскресной газетой уселся в своем углу в гостиной, а Джин-Луиза предвкушала, как славно будет вечером в обществе доктора Финча пить самый крепкий в Мейкомбе кофе и есть кексы.

Позвонили в дверь. Она услышала, как Аттикус сказал: «Заходи!», а потом голос Генри ответил: «Готовы, мистер Финч?»

Она отшвырнула посудное полотенце, но еще не успела выйти из кухни, как Генри просунул голову в дверь и сказал:

– Привет.

И без малейшего промедления был тетушкой пригвожден:

– Генри Клинтон, тебе должно быть стыдно!

Генри включил на полную мощь свое сокрушительное обаяние, однако тетушка признаков растроганности не выказала.

– Ну, мисс Александра, – сказал он. – Вы же не можете долго на нас сердиться, даже если б и хотели...

– На этот раз я смогла эту историю замять – удастся ли в следующий?

– Поверьте, мисс Александра, мы это очень ценим. – И повернулся к Джин-Луизе: – В семь тридцать сегодня. И никаких пристаней. Мы пойдем шоу смотреть.

– Ладно. А сейчас вы с Аттикусом куда?

– В суд. Собрание.

– В воскресенье?

– Ага.

– Это правильно. Я забыла, что в наших краях политиканствуют по выходным.

Аттикус из гостиной позвал Генри, и тот сказал:

– Ну, пока, детка, до вечера.

Джин-Луиза вместе с ним вышла в гостиную, а когда за Аттикусом и Генри захлопнулась дверь, подошла к отцовскому креслу и стала подбирать

разбросанные на полу газеты. Собрала, рассортировала и положила аккуратной кипой на диван. Потом решила навести порядок и на столике и, укладывая книги в стопку, заметила брошюрку размером с конверт для документов.

На обложке было изображено чернокожее злобное страшилище, а выше шло заглавие – «Черная чума». После фамилии автора значились его ученые звания. Джин-Луиза открыла брошюру, села в отцовское кресло и принялась читать. Дочитав, взяла за уголок, как дохлую крысу за хвост, и направилась в кухню. Предъявила тетушке:

– Это что такое, а?

Александра взглянула на книжонку поверх очков:

– Твоего отца.

Джин-Луиза нажала педаль мусорного ведра и бросила туда брошюру.

– Не делай этого, – сказала Александра. – Их теперь не найти.

Джин-Луиза открыла рот, потом закрыла рот, потом снова открыла.

– Тетя, да ты это читала? Ты хоть знаешь, что там?

– Разумеется.

Даже если бы тетушка нелестно помянула Господа Бога и непорочно зачавшую мать его, Джин-Луиза не была бы так потрясена.

– Тетя... ты... да ты понимаешь, что писания доктора Геббельса по сравнению с этим – невинный детский лепет?

– Я в толк не возьму, Джин-Луиза, о чем ты. В этой книге содержится множество неоспоримых истин.

– Ах, вот как... – сказала она. – Истин!.. Мне особенно понравилось то место, где сказано, что негры, дай им Бог здоровья, не могут не быть ниже белой расы, потому что черепные кости у них толще, а черепные коробки менее вместительные – понимай, как знаешь! – и поэтому нам следует относиться к ним по-доброму и следить, чтоб они себя не изувечили и вообще чтоб знали свое место. Господи Боже, тетя...

Тетя, однако, осталась тверда, как ружейный шомпол.

– И что с того? – спросила она.

– Да ничего! Мне просто в голову не могло прийти, что ты читаешь подобную мерзость, – сказала Джин-Луиза и, поскольку тетушка молчала, продолжила: – Меня еще потряс пассаж, где утверждается, что от начала времен миром правили одни белые, за исключением разве что Чингисхана или еще кого-то – тут автор проявляет объективность, – и приводится убийственный аргумент: мол, даже фараоны были белые, а подданные их – либо негры, либо евреи...

– А разве это не так?

– Так, но что из этого следует?

Когда у Джин-Луизы становилось тревожно на душе, когда ее томили недобрые предчувствия, когда она бывала на грани – особенно в ссорах с тетушкой, – мозг ее начинал работать в ритме Гилбертовых куплетов. Три развеселые фигуры как безумные вертелись у нее в голове – она сама с дядей Джеком и Диллом, когда они часами лихо отплясывали в безумной надежде не заметить надвигающееся завтра и завтрашние печали.

До нее донесся голос тетушки:

– Я же сказала. Твой отец принес это с заседания совета граждан.

– Откуда принес?

– С заседания Мейкомбского окружного совета граждан. Ты не знала, что у нас появился совет?

– Не знала.

– Так вот, Аттикус там – один из руководителей, а Генри активист. – Александра вздохнула. – Не то чтобы совет нам был нужен... В Мейкомбе пока ничего не стряслось, но, конечно, благоразумнее быть готовым ко всякому... Твой отец и Генри сейчас как раз там.

Джин-Луиза как со стороны услышала собственный голос, бессмысленно повторяющий:

– Окружной совет граждан? В Мейкомбе? Аттикус?..

– Мне кажется, Джин-Луиза, ты не вполне понимаешь, что у нас тут творится...

Она круто повернулась, направилась к дверям, вышла, пересекла двор и двинулась вниз по улице в город, и тетушкино «...ты же не выйдешь из дому В Таком Виде» звучало ей вслед. Она совсем забыла, что в гараже стоит машина на ходу, а на столике в холле лежат ключи. Шла стремительно, повинувшись ритму дурацкой песенки, стучавшему у нее в голове:

Как же это так?

Что это за брак?

С женихом, выходит, вместе

Надо гибнуть и невесте?

Что за кавардак?

Как же это так?^[33]

Чего добиваются Хэнк и Аттикус? Что вообще здесь происходит? Она не знает, но выяснит еще до заката.

Этот памфлет в отчем доме, этот совет граждан. Конечно, она слышала о советах граждан, все нью-йоркские газеты регулярно писали. Надо было читать внимательней, но хватало одного взгляда на колонку, чтобы увидеть знакомую историю: эти же самые люди были Невидимой Империей^[34], ненавидели католиков; невежественные, обуянные страхом, краснолицые, неотесанные, законопослушные, стопроцентно чистокровные англосаксы, ее соотечественники и земляки – белая шваль.

Аттикус и Хэнк, наверно, что-то затевают, вступили в совет, чтобы держать руку на пульсе... но тетушка ведь сказала, что отец чуть ли не возглавляет его... Наверно, ошиблась, перепутала, она иногда путает...

В центре города Джин-Луиза замедлила шаги. А город был безлюден, только две машины стояли перед аптекой. В послеполуденном блеске белело старое здание суда. В отдалении трусила по улице черная собака, молча щетинились по углам площади араукарии.

Когда подошла к суду с северного крыла, увидела машины, стоявшие в два ряда вдоль фасада.

Когда поднялась по ступенькам, не заметила болтавшееся там старичье, не заметила кулер за дверью, не заметила плетеные стулья в вестибюле, но не могла не почувствовать, как несет сладковато-сырым запахом мочи из полутемных кабинетов-клетушек. Миновала кабинеты налогового инспектора, налогового оценщика, секретаря округа, секретаря суда, судьи по делам наследства и опеки, поднялась по старым некрашеным ступеням выше этажом, где размещался суд, и потом еще на пролет выше – на балкон для цветных, вошла и села в первом ряду с краю, где когда-то сидели они с братом, приходя в суд послушать выступления отца.

Внизу на грубо сколоченных скамьях сидела не только белая шваль Мейкомба, но и самые уважаемые люди округа.

Она взглянула в дальний конец зала и за барьером, отделявшим судей от публики, за длинным столом увидела отца, Генри Клинтон, нескольких человек, которых прекрасно знала, и одного, которого не знала вовсе.

А с краю, как раздутый водяной огромный серый слизень, сидел Уильям Уиллоби – воплощение всего, что ее отец и подобные ему глубоко презирали. Тоже последний из могикан, подумала она. И Аттикус, подумать только – Аттикус, который раньше побрезговал бы даже плюнуть в его сторону, сидит с ним за одним...

Уильям Уиллоби и впрямь был последний из могикан – во всяком случае, до поры до времени. Царившая прежде в крае нищета была для него что кровь для сердца, а нынешнее благоденствие постепенно обескровливало его и медленно умерщвляло. В каждом округе на Дальнем

Юге имелся свой Уиллоби, и все они были так похожи друг на друга, что составляли особый разряд и назывались Он, Большой Человек, Малютка – с незначительной поправкой на местные особенности. Как бы ни обращались к нему его присные, сидел он обычно в администрации своего округа на самой главной должности, был шерифом или судьей – но и здесь случались нюансы: к примеру, мейкомбский Уиллоби официальных постов не занимал. Здешний Уиллоби был наособицу, и это его стремление всегда оставаться за сценой подразумевало отсутствие кичливого самомнения, неотъемлемой черты мелких и мелочных тиранов.

Уиллоби предпочитал управлять округом не из роскошного кабинета, а из смрадной комнатенки, тесной и темной, которую правильней назвать каморкой, где на дверях висела табличка с его фамилией, а внутри не было ничего, кроме телефона, кухонного стола и ободранных жестких кресел, густо подернутых патиной. Где бы он ни был, само собой разумелось, что следом появится так называемая «судебная свора» – послушные, безвольные, ничем хорошим себя не зарекомендовавшие прихлебатели, которых он рассовывал на разные окружные и муниципальные должности, дабы делали, что им говорят.

Один такой сидел сейчас рядом: Том-Карл Джойнер, его правая рука, был исполнен чувства законной гордости – разве не он был с самого начала верным соратником босса? Разве не он был его порученцем, а верней – подручным? Разве не он в тяжкие времена Великой депрессии стучался в ночь-полночь в двери арендаторов, разве не он вдалбливал в башку темному и голодному бедолаге, что социальную помощь, будь то работа или денежное пособие, предоставят ему, если он проголосует за Уиллоби? А нет – значит, нет. Как и спутники помельче, вращавшиеся на орбите босса, Том-Карл за эти годы приобрел известную респектабельность, которая, впрочем, смотрелась странновато и неестественно, и не любил, когда ему на нынешних его высотах напоминали о прошлых низостях. И сегодня он сидел, пребывая в уверенности, что маленькая империя, которую он строил неустанно, без сна и отдыха, достанется ему, как только Уиллоби потеряет к ней интерес или умрет. И по лицу его было заметно, что он никак не предвидит более чем вероятного и весьма неприятного сюрприза – независимость, вскормленная благополучием, уже всюю подмывала устои его владычества, грозя в скором времени обрушить его; еще две избирательные кампании – и оно распылится в материал для дипломной работы по социологии. Джин-Луиза взгляделась в его самодовольное личико и чуть не рассмеялась вслух: Юг и в самом деле безжалостен, ибо за верную службу вознаграждает вымиранием.

Потом она посмотрела вниз, на ряды знакомых голов – с седыми волосами, или темными, или вообще без волос, отсутствие которых прикрывали искусно разложенные пряди, – и вспомнила, как много лет назад, томясь на скучнейшем заседании, пуляла жеваной бумажкой в сияющие купола этих плешей внизу. Судья Тейлор однажды поймал ее за этим занятием и пригрозил арестом.

Часы в зале суда натужно захрипели, прокашлялись и отвесили гулкий удар. Два часа. Когда звук замер, Джин-Луиза увидела, что ее отец встал и произнес особым, предназначенным только для судебных слушаний бесцветным голосом:

– Джентльмены, слово имеет мистер Грейди О’Хэнлон. Представлять его нет необходимости. Прошу вас, мистер О’Хэнлон.

И мистер О’Хэнлон, поднявшись, начал:

– Спасибо за тепло твоих рук, как однажды холодным утром сказала корова молочнику.

Джин-Луиза никогда прежде не видела О’Хэнлона и даже не слышала о нем. Но по первым же его фразам стало ясно, кто он такой, – обычный, а значит, богобоязненный человек, который бросил работу, чтобы целиком посвятить себя сохранению сегрегации. Какой только дурью люди не маются.

У мистера О’Хэнлона волосы были русые, глаза голубые, лицо упрямое, галстук расцветки «вырвиглаз», а пиджака не было вовсе. Он расстегнул воротник, развязал галстук, поморгал, провел ладонью по волосам и перешел к сути вопроса.

Мистер О’Хэнлон родился и возматал на Юге, здесь он пошел в школу, здесь нашел себе жену, здесь прожил всю свою жизнь и главную свою задачу сейчас видит в сохранении Южного Образа Жизни, и никакие черномазые вместе с Верховными судами не вправе указывать ему, что делать и как поступать... тупоголовая раса... врожденная неполноценность... обросшие курчавой шерстью головы... только вчера слезли с пальмы... смердят... будут жениться на ваших дочерях... неминуемое вырождение и упадок белой расы... *вырождение, джентльмены!., спасти наш Юг... Черный Понедельник...*^[35] ниже тараканов... разные расы – замысел Творца... нам не дано постичь замысел Господа, разделившего их... не будь его, Он сделал бы нас всех одного цвета... назад в Африку..

В ушах Джин-Луизы звучал негромкий голос отца, оставшийся в теплом уютном прошлом: «Джентльмены, я верю одному-единственному лозунгу, и лозунг этот таков: “Равные права – всем, особые привилегии –

никому»».

Негритянские проповедники мутят воду... хуже обезьян... разевают свои пасти... перевирают слова Писания... суд прислушивается к коммунистам... всех взять и расстрелять за измену...

Против этой гудящей речи восставала ее память: в зале сидели присяжные, на возвышении – судья, и его рыба-лоцман, пристроившись перед ним, торопливо строчила пером. Аттикус был на ногах – он стоял у стола, за которым виднелся затылок в курчавой шерсти...

Аттикус Финч редко брался за уголовные дела – больше удовольствия находил в гражданском праве. И этого клиента согласился защищать лишь потому, что знал – тот не совершал преступления, которое ему вменяли, и ни за что на свете не согласился бы, чтобы чернокожий парень отправился в тюрьму всего лишь из-за вялого безразличия адвоката, назначенного ему штатом. Парень пришел к Аттикусу по совету Кэлпурнии и рассказал все как есть, то есть как все было. А было все чудовищно.

Аттикус взял дело в свои руки – с толком использовал небрежно составленное обвинительное заключение, произнес речь перед присяжными и добился такого, чего не бывало в Мейкомбе ни прежде, ни потом, – оправдательного приговора для цветного, обвиняемого в изнасиловании. Главным свидетелем обвинения выступала белая девушка.

У Аттикуса было два важных козыря. Несмотря на то, что предполагаемой жертве было четырнадцать лет, не было предъявлено обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, а потому Аттикус мог доказать и доказал «обоюдное согласие», что оказалось проще, чем обычно, – обвиняемый был одноруким. Левую руку ему отрезало – результат несчастного случая на лесопилке.

Аттикус довел дело до конца, употребив на то все свои силы и умение, а отвращение его ко всему происходящему было столь острым, что избавиться от него можно было единственным способом – знать, что отныне он сможет жить в ладу со своей совестью. После вердикта присяжных он вышел из здания суда в середине дня, отправился домой, принял горячую ванну. Он никогда не подсчитывал, во что обошлась ему эта история, никогда не оглядывался назад. Он так и не узнал, что во время процесса за ним с балкона следили два глаза, так похожие на его собственные.

...и дело ведь не в том, будут ли черномазые сопляки ходить в школу вместе с вашими детьми или ездить в автобусе на передних сиденьях... а в том, выстоит ли христианская цивилизация, сумеет ли сохранить себя, или все мы станем рабами коммунистов... черномазых подпевал-юристов...

попрание Конституции... наши еврейские друзья... распяли Христа... черномазый будет избран... наши отцы и деды... негритянские судьи и шерифы... сегрегация есть равенство... девяносто пять процентов налоговых сборов... их не так давно гончими травили... поклоняются золотому тельцу... в Писании сказано... старуха Рузвельт... обожательница негров... не допустить, чтобы хоть одна юная и невинная южанка... истый христианин Хьюи Лонг...^[36] черные, как головешки... подкупили Верховный суд... достойные белые христиане... неужели Иисус был распят за черного...

Ладонь Джин-Луизы соскользнула с перил. Надо же – мокрая. И влажное пятно на барьере отражало свет из верхних окон. Джин-Луиза посмотрела на отца, сидевшего справа от мистера О'Хэнлона, и не поверила своим глазам. Посмотрела на Генри, сидевшего слева, и не поверила своим глазам.

...но их тут полный зал судебных заседаний. Люди основательные и ответственные, волевые, добрые. Люди всех видов и сортов, люди с разными репутациями... похоже, из всех мужчин округа Мейкомб здесь нет только дяди Джека. Дядя Джек – она ведь собиралась его навестить... Когда?

Она слабо разбиралась в мужских делах, но разве то, что отец ее сидел за одним столом с человеком, изрыгавшим эти мерзости, делало их менее мерзкими? Нет. От этого они становились только мерзее.

Ее замутило. Светло желудок, пробила дрожь.

Хэнк.

Каждый нерв заныл, потом словно отмер. Она вся онемела.

Неуклюже вздернула себя, поставила на ноги, спотыкаясь, побрела по крытой лестнице вниз. Не слышала, как скребли по ступеням подошвы, как часы в зале с усилием пробили половину третьего, и не почувствовала, что вдыхает сыроватый воздух первого этажа.

От солнечного блеска больно стало глазам, и она закрыла лицо ладонями. Потом медленно, чтобы глаза успели привыкнуть, опустила руки и увидела плавающий в послеполуденном зное Мейкомб, где не было людей.

Она сошла со ступеней, оказалась в тени дуба. Протянула руку, потом прильнула к стволу. Поглядела на Мейкомб, и горло у нее перехватило – Мейкомб глядел на нее.

Пошла прочь, говорили ей старые дома. Нет тебе тут места. Тебе здесь не рады. У нас свои секреты.

И в жарком безмолвии она послушно побрела вниз по главной

городской магистрали – шоссе на Монтгомери. Шла мимо домов с широкими лужайками, где сновали женщины-садовницы и бродили медлительные рослые мужчины. Она будто слышала, как миссис Уилер через дорогу перекликается с мисс Моды Эткинсон, а если та заметит ее, Джин-Луизу, непременно скажет: зайти, пирогом тебя угощу, я один большой для доктора испекла, а другой, маленький – для тебя. Считая трещины на плитах тротуара, она приготовилась отбить натиск миссис Генри Лафайетт Дюбоз – *Нет, Джин-Луиза, избавь меня от своего «привета», уж будь любезна говорить мне «добрый день»*, – заторопилась вдоль коттеджа мисс Рейчел – старого, под крутым скатом крыши – и оказалась дома.

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ

Она заморгала. С ума я схожу, что ли?

Шагнула дальше, но было уже поздно. Квадратное, приземистое, современной постройки кафе-мороженое, стоявшее на месте ее дома, было открыто, и из окна на Джин-Луизу пялился хозяин. Она пошарила по карманам, обнаружила и достала четвертак.

– Ванильный рожок, пожалуйста.

– В рожках больше не выпускают. Могу предложить...

– Ладно. Давайте тогда, в чем выпускают.

– Джин-Луиза Финч, не? – сказал он.

– Да.

– Вроде жили прямо тут вот, не?

– Да.

– Значитца, и родились тут, не?

– Да.

– А теперь в Нью-Йорке, не?

– Да.

– Мейкомб здорово изменился, не?

– Да.

– А меня, гляжу, не припоминаете?

– Нет.

– А я вам не скажу, кто я такой. Вот садитесь, кушайте мороженое и соображайте, кто я, а сообразите – с меня еще порция бесплатно.

– Спасибо, сэр, – сказала она. – Можно я обойду?..

– Да конечно! Там сзади столики. Много народу сидит вечером, мороженое кушает.

Задний двор засыпали белым гравием. Какой он стал маленький теперь, когда нет ни дома, ни гаража, ни сиреней. Она села за столик,

поставила ведро с мороженым. Мне надо подумать.

Это случилось так стремительно, что она даже не успела вскочить. Желудок продолжало сводить. Глубоко вздохнула, чтобы прийти в себя, но нутро не желало успокаиваться. Чувствуя накатывающую дурноту, уткнулась лбом в столешницу: она не могла думать, она просто знала и знала вот что:

Единственный на белом свете человек, которому она доверяла полностью и безоговорочно, подвел ее; единственный человек, на которого она могла показать, сказав с непреложной убежденностью, со всей определенностью: «Он – джентльмен, джентльмен до мозга костей», предал ее, предал открыто, бесстыдно и подло.

Если бы нужно было охарактеризовать Аттикуса Финча тремя словами, слова эти были бы – «юмор», «честность», «терпение». А можно было развернуть и в целую фразу: возьми наугад любого жителя округа Мейкомб и окрестностей, спроси, что он думает об Аттикусе Финче, и в ответ скорее всего услышишь: «Дай Бог каждому такого друга».

Секрет был прост – так прост, что делался чрезвычайно сложен: не в пример тем многим и многим, кто лишь старался жить в соответствии со своими житейскими правилами, Аттикус своим правилам следовал неукоснительно, от и до, причем без помпы, без внутреннего разлада, без самокопания. И на людях был точно такой же, как наедине с самим собой. Правила эти были записаны в Новом Завете, и наградой за их исполнение были ему уважение и преданность всех, кто его знал. Его любили даже враги, потому что Аттикус не считал их врагами. У него было не очень много денег, но его дети не знали человека богаче.

Зато они знали то, чего детям обычно знать не положено: вскоре после того, как Аттикуса избрали в законодательное собрание, он встретил, полюбил и взял в жены девушку из Монтгомери на пятнадцать лет себя моложе; привез ее в Мейкомб и зажил с ней в только что купленном доме на главной улице. В сорок два года родился у него первенец, которого в честь отца и деда назвали Джереми Аттикусом. Четыре года спустя появилась на свет девочка, в честь матери и бабушки получившая имя Джин-Луиза. А еще через два года Аттикус, вернувшись вечером с работы, обнаружил жену без признаков жизни – она лежала на полу прохладной уединенной веранды, скрытой от взглядов пышно разросшейся глицинией. Она умерла совсем недавно – кресло-качалка, с которого она упала, еще не успело остановиться. Сердце унаследовал от Джин Грэм Финч и ее сын – двадцать два года спустя он упал и умер на улице перед адвокатской конторой отца.

В сорок восемь лет Аттикус остался с двумя маленькими детьми на руках и чернокожей кухаркой Кэлпурнией. Едва ли он предавался размышлениям о потаенном смысле того, что выпало ему на долю, – он лишь старался растить своих детей как мог, и если судить по тому, какой нежностью те ему платили, получалось у него неплохо: ему никогда не надоедало с ними играть; он рассказывал им чудесные истории, никогда не отговариваясь тем, что занят или устал; как бы глубоко ни был погружен в

собственные взрослые дела и заботы, всегда находил время с неподдельным интересом выслушивать их рассказы о разных напастях и огорчениях и каждый вечер до хрипоты читать им перед сном вслух.

Этими на сон грядущими чтениями Аттикус убивал двух зайцев и, вероятно, вызвал бы оторопь у любого детского психолога, поскольку читал Джиму и Джин-Луизе то же самое, что читал в это время сам, и потому дети его росли, получая солидные, хоть и не вполне и не всегда понятные им сведения. Они постигали премудрости военной истории, а также «Правила рассмотрения законопроектов», «Подлинные детективные тайны»^[37], «Гражданский кодекс Алабамы», Библию и «Сокровищницу» Пэлгрейва^[38].

Куда бы Аттикус ни шел, Джим и Джин-Луиза почти неизменно его сопровождали. Он брал детей с собой в Монтомери, если сессия законодательного собрания проходила летом, водил на футбольные матчи, на политические митинги, в церковь и в свою контору, если предполагал задержаться на работе допоздна. И редко после захода солнца появлялся в городе, не таща на буксире сына и дочь.

Джин-Луиза матери не помнила, вообще не знала, что такое мать, но по большей части и знать не хотела. В детстве ни разу не случилось, чтобы Аттикус ее не понял, и впросак он попал только однажды – в тот день, когда, вернувшись из школы на большой перемене, она обнаружила, что у нее идет кровь.

Она решила, что умирает, и заревела в голос. Прибежали Аттикус, Джим и Кэлпурния: отец с сыном, увидев, в каком она положении, беспомощно воззрились на кухарку, и та взяла это дело на себя.

Джин-Луиза толком и не сознавала, что она девочка: жизнь ее была сплошной вереницей рискованных отчаянных забав – она дралась, играла в футбол, лазила по деревьям и через заборы, не отставала от Джима и неизменно одолевала сверстников, если требовались сила и ловкость.

Успокоившись немного и обретя способность слушать, она с горечью поняла, что над ней жестоко подшутили: вскоре ей предстояло войти в мир женщин, который она глубоко презирала, не вполне понимала, от которого не могла защититься и которому была не нужна.

В шестнадцать лет Джим ее покинул. Он начал зачесывать волосы назад, примачивая, чтобы гладко лежали, и встречаться с девицами. Единственным ее другом остался Аттикус. Потом в Мейкомб вернулся доктор Финч.

Двое немолодых мужчин помогли ей в самые одинокие и трудные часы

ее жизни, помогли пережить мучительную межеумочность ее превращения из бесшабашного сорванца в девушку. Аттикус вынул у нее из рук духовое ружье и дал взамен клюшку для гольфа, доктор Финч учил ее... доктор Финч учил ее тому, чем сам более всего интересовался. Джин-Луиза, пусть скрепя сердце, пусть на словах, но все же признала правила окружающего ее мира, а признав, подчинилась: стала исполнять законы, определяющие поведение барышни-подростка из хорошей семьи, до известной степени сумела развить в себе интерес к нарядам, мальчикам, прическам, сплетням и девичьим упованиям, но чувствовала себя неуютно за пределами надежного круга, очерченного теми, кто точно ее любил.

Аттикус определил ее в женский колледж в Джорджии, а по окончании его высказался в том смысле, что сейчас самое время начинать жить своим умом и отчего бы ей не отправиться, допустим, в Нью-Йорк. Джин-Луизу слегка оскорбило, что ее словно выставляют из дому, но прошли годы – и она в полной мере оценила глубину отцовской мудрости; надвигалась старость, и он хотел умереть в спокойной уверенности, что дочь не пропадет.

Она не была одинока, потому что ее поддерживала и подпирала мощнейшая в ее жизни нравственная сила – любовь Аттикуса. Джин-Луиза никогда в ней не сомневалась, никогда о ней не думала и даже не замечала, что перед всяким важным решением в голове неосознанно мелькает мысль: «Как бы поступил Аттикус?»; не понимала, что упорством и умением твердо стоять на ногах обязана отцу; что все хорошее, все достойное заложил в нее отец; она не знала, что боготворит его.

А знала только, что жалеет ровесников, которые жалуются на родителей, не давших им того, лишивших этого. Жалеет дам средних лет, которые после долгих сеансов психоанализа выясняли, что корни нынешних проблем растут из корней генеалогического древа; жалеет тех, кто называл своих отцов «стариканами», подразумевая, что не прощает этих неряшливых, возможно, попивающих, никчемных людей за то, как жестоко те их разочаровали.

Жалость ее была безбрежна; собственный мир – приволен и уютен.

Джин-Луиза поднялась с садового стула, отошла в угол двора и извергла из себя весь воскресный обед. Пальцы ее цеплялись за проволоку изгороди, отделявшей сад мисс Рейчел от заднего двора Финчей. Был бы тут Дилл – он бы перескочил к ней через ограду, притянул к себе, поцеловал, взял за руку, и вдвоем они выстояли бы, как бывало раньше, когда в дом приходила беда. Но Дилла давно уже нет рядом.

Она вспомнила сцену в зале суда, и приступ тошноты накатил с новой силой, но желудок был уже пуст.

Лучше бы ты плюнул мне в лицо...

Может, померещилось, привиделось, тебя там не было? Мозг отказывался воспринимать то, что видели глаза и слышали уши. Джин-Луиза вернулась на место, посмотрела, как лужица растаявшего ванильного пломбира медленно подползает к краю стола. Лужица растеклась, расплылась, добралась до края и закапала. Кап-кап-кап – шлепались капли в белый гравий, а он вбирал их, покуда мог, а потом появилось еще одно озерцо.

Не померещилось. И это так же непреложно, как и то, что ты был в зале.

– Ну, чего, мисс, угадали, как меня? Ой, что ж это вы свое мороженое переводите?

Она подняла голову. Мороженщик, опершись о подоконник, смотрел на нее из окна, и до него было всего футов пять. Исчез и появился у столика с мягкой тряпкой. Устранил липкий беспорядок и спросил:

– Так как меня зовут?

Румпельштильцхен.

– Ох, простите... – Она взгляделась повнимательней. – Вы, должно быть, один из Конингемов... тех, которые через «о»?

Мороженщик широко ухмыльнулся:

– Ну, почти. Вторая буква «а». Как узнали?

– Семейное сходство. А почему выбрались из своих чащоб?

– Мамаша оставила мне участок леса, а я продал. И построил здесь кафе.

– Который час? – спросила она.

– Полпятого примерно, – ответил мистер Канингем.

Джин-Луиза поднялась, улыбнулась ему на прощанье, сказала, что

обязательно еще заглянет. И вышла на улицу. Целых два часа я не знала, где была. Как же я устала.

Возвращаться через центр города не хотелось. И она пошла долгим, кружным путем – через школьный двор, по улице, обсаженной пеканами, потом через другой школьный двор и через футбольное поле, где когда-то Джим в запале снес своего же защитника. Как я устала.

На пороге стояла Александра. Она посторонилась, пропуская племянницу.

– Куда же ты пропала? Джек давно звонил, справлялся о тебе. Ты в гости ходила? В Таком Виде?

– Я... Я не знаю.

– Что значит «не знаю»? Джин-Луиза, приди в себя и позвони дяде Джеку.

Джин-Луиза поплелась к телефону:

– Один-один-девять.

– Доктор Финч.

– Извини. Давай лучше завтра.

– Ладно, – сказал доктор Финч.

Она была так измучена, что даже не смогла посмеяться над манерой дядюшки говорить по телефону – к этому устройству он относился с глубоким неодобрением и сводил разговор к односложным репликам.

Когда она обернулась к тетке, та сказала:

– Ты вернулась какая-то пришибленная. Что случилось?

А то случилось, мадам, что мой отец бросил меня барахтаться, как камбалу на отмели.

– Живот, – сказала она.

– Да, просто поветрие какое-то. Болит?

Болит. Адски болит. Так болит, что терпежу никакого.

– Да нет. Просто крутит.

– Прими «алка-зельтцер».

Джин-Луиза пообещала, что примет непременно, и тут пред Александрой взошла заря нового дня:

– Ты что, ходила на собрание, где был цвет Мейкомба?

– Ходила.

– В Таком Виде?

– В таком.

– А где ты сидела?

– На балконе. Меня никто не заметил. Я смотрела с балкона... Тетя... когда придет Хэнк, скажи ему... скажи, что мне нездоровится.

– Нездоровится?

Больше она не выдержит ни минуты.

– Да, тетя. Поступлю в этих обстоятельствах как всякая юная белая непорочная девушка с Юга, когда ей нездоровится.

– То есть?

– Лягу в постель.

Она поднялась к себе, закрыла дверь, расстегнула блузку дернула молнию слаксов и упала поперек материнской железной кровати на кружевное покрывало. Вслепую нашарила подушку, подсунула под щеку. Через минуту заснула.

Если бы Джин-Луиза сохранила способность думать, она сумела бы предотвратить дальнейшее развитие событий, расценив сегодняшнее происшествие, как повторяющуюся время от времени и старую как само время драму: тот акт, что касался ее, начался двести лет назад в гордом обществе, выстоявшем под ударами самой кровопролитной войны и самого унижительного мира, какие только были в его истории, а ныне возвращался, и его предстояло сыграть актерским составом одной семьи, в гаснущих сумерках цивилизации, которую уже не спасут никакая война и никакой мир.

Если бы Джин-Луизе хватило проницательности преодолеть перегородки своего взыскательно-разборчивого, замкнутого мира, она поняла бы, что всю жизнь страдает врожденным дефектом зрения, на который не обращала внимания ни она сама, ни самые близкие ей люди, – она не различала цвета.

Часть IV

Давным-давно было время, когда покой осенял ее душу лишь в тот миг, когда она утром открывала глаза, и лишь до тех пор, пока не просыпалась полностью, – то есть на несколько секунд перед тем, как она наконец вставала и входила в ежедневный кошмар наяву.

Она училась в шестом классе, особенно ей памятно, потому что тогда она узнала много нового – и на уроках, и не на уроках. В тот год небольшую группу мейкомбских детей разбавили ребята постарше, которых перевели из Старого Сарэма, потому что тамошняя школа сгорела – и вряд ли сама собой. Самому старшему из парней, оказавшихся в шестом классе мисс Блант, шел девятнадцатый год, троим прочим – около того. Было и несколько девиц в пышном и чувственном расцвете шестнадцати лет – они наслаждались блаженной, пусть и временной, возможностью не собирать хлопок и не ходить за скотиной. Мисс Блант была им всем под стать – ростом с самого рослого ученика и вдвое объемистей.

Джин-Луиза моментально сдружилась с новичками. Сумела привлечь к себе всеобщее внимание, ловко втянув учителя географии Гастона Б. Минза в дискуссию о природных ресурсах Южной Африки, доказала свою меткость в стрельбе из рогатки – и завоевала доверие старосарэмских.

Большие мальчики с грубоватой галантностью учили ее играть в кости и жевать табак. От больших девочек проку было меньше – они главным образом хихикали, прикрывая рот ладошкой, и перешептывались, но Джин-Луиза и им находила полезное применение, когда в волейбольном матче доходило до выбора команды. Так или иначе, год обещал быть просто великолепным.

Таким он и был, пока однажды она не пришла домой на обед во время большой перемены. И в школу в тот день уже не вернулась, а до вечера пролежала в постели, плача от ярости и силясь уразуметь ужасные сведения, полученные от Кэлпурнии.

Наутро она вновь пришла в класс, неся себя плавно и с чрезвычайным достоинством, что объяснялось не горделивостью нрава, но кое-каким снаряжением, до той поры ей неведомым. Она не сомневалась, что случившееся с ней накануне уже всем известно и все на нее смотрят, но пребывала в недоумении – как же это раньше она ничего такого даже не слышала? Может, думала она, всем невдомек? Что ж, если так, ей есть что

рассказать им.

Когда на перемене Джордж Хилл позвал ее играть в «Повар, тише, в кухне мыши», она в ответ покачала головой:

– Нет, мне теперь нельзя, – и, усевшись на ступеньки, принялась наблюдать, как возятся в пыли мальчишки. – Мне даже ходить нельзя.

Когда же держать это тайное знание в себе стало уже невыносимо, она подошла к выводку девчонок, собравшихся под виргинским дубом в углу школьного двора.

Ада Белль Стивенс со смехом подвинулась, давая ей место на длинной бетонной скамье.

– Чего не играешь?

– Не хочется, – сказала Джин-Луиза.

Глаза Ады сузились, белесые бровки дернулись.

– А я знаю, почему.

– И почему?

– Потому что у тебя – Евино проклятие.

– Чего у меня?

– Евино проклятие. Если бы Ева не съела запретный плод, мы бы не мучились. Плохо тебе?

– Да нет, – сказала Джин-Луиза, про себя недобрим словом помянув Еву и ее проклятие. – А как ты догадалась?

– Ну, ты ходишь так, будто сто миль верхом проехала. Ничего, привыкнешь. У меня уже давно началось.

– Никогда я не привыкну.

Настало трудное время. Когда нельзя было ничего другого, Джин-Луиза ограничивалась картами по маленькой за угольной кучей на задах школы. Удовольствие от риска с лихвой перекрывало опасность, которой грозило само это занятие: Джин-Луиза не настолько владела устным счетом, чтобы с ходу сообразить, проиграла она или выиграла, не было особенной радости в попытках одолеть закон средних чисел, зато ее грела мысль, что все это делается за спиной у мисс Блант. Партнерами ее были самые ленивые старосарэмские ребята, а ленивей всех был некто Альберт Конингем, тугодум, которому Джин-Луиза оказывала неоценимые услуги на контрольных.

Однажды, когда раздался звонок на урок, Альберт, отряхивая штаны от угольной пыли, сказал:

– Эй, Джин-Луиза, погоди-ка, чего скажу.

Она остановилась. Оказавшись с ней наедине, Альберт сказал:

– Мне поставили по географии «удовлетворительно с минусом».

- Потрясающе, Альберт! – сказала она.
- Хотел тебе спасибо сказать.
- Да не за что, Альберт.

Тот, покраснев до корней волос, сграбастал ее, притянул к себе и поцеловал. Она почувствовала на губах его влажный теплый язык и отпрянула. Ее никогда прежде не целовали так. Альберт ее отпустил и поплелся к школе. Смущенная и слегка рассерженная Джин-Луиза пошла следом.

До сих пор ее целовали только родственники в щечку, которую она потом незаметно вытирала; Аттикус, когда возвращался домой, рассеянно целовал ее куда придется; Джим не целовал никогда. Она подумала, что Альберт дурака валяет, и вскоре об этом забыла.

Время шло, и теперь на переменках она чаще всего сидела с другими девочками под деревом, покоровшись своей судьбе, но поглядывая, как играют в школьном дворе мальчишки. Однажды утром, придя, когда все общество было уже в сборе, она обнаружила, что одноклассницы хихикают как-то на редкость сдавленно и сконфуженно, и потребовала объяснений.

- Фрэнсин Оуэн, – сказали ей.
- Фрэнсин Оуэн? Ее несколько дней нет в классе.
- А знаешь, почему?
- Не-а.
- Из-за сестры. Социальная служба забрала обеих.

Джин-Луиза подтолкнула Аду, чтоб подвинулась:

- А что с ней такое?
- Беременная она, вот что такое. И знаешь, от кого? От родного отца.
- Что значит «беременная»?

Смешки прошелестели по всему кружку.

- Значит, ребеночек у нее будет, – ответил кто-то. – Сама не знаешь?

Дура, что ли?

Джин-Луиза переварила эти сведения и спросила:

- А отец-то при чем?
- При том, – вздохнула Ада. – При всем.

Джин-Луиза рассмеялась:

- Да ну тебя, Ада!..
- Так оно и есть. Вот на что хочешь спорю: Фрэнсин не это самое, потому что у нее еще не началось.

- Что не началось?

– Месячные, – нетерпеливо сказала Ада. – Могу спорить на что хочешь, их обеих папаша это самое...

– Что? – уже в полном смятении спросила Джин-Луиза.

Девочки прыснули.

– Ты как будто не знаешь, Джин-Луиза Финч! Если будешь это самое после того, как у тебя уже началось, получишь ребеночка.

– Да объясни ты толком, Ада-Белль!

Ада обвела взглядом подруг и подмигнула:

– Ну, прежде всего нужен мальчик. Потом он тебя зажимает крепко-крепко, а сам дышит как загнанная лошадь, а потом целует тебя по-французски. Это знаешь как? Это когда просовывают язык тебе в рот...

Звон в ушах не дал ей дослушать повествование до конца. Она почувствовала, как кровь отлила от лица. Ладони взмокли, она пыталась сглотнуть – и не могла. Уйти нельзя: если уйдет – они догадаются. Поднялась, попыталась улыбнуться, но дрожащие губы не слушались. Она сомкнула их плотней, стиснула челюсти.

– ...всего и делов-то. Что с тобой, Джин-Луи – за? Ты вся побелела прям! Я что – напугала тебя? – Ада улыбалась фальшиво.

– Да нет, – ответила она. – Просто что-то мне нехорошо. Зайду, наверно, внутрь.

Она шла через школьный двор, молясь, чтоб никто не заметил, как у нее подгибаются колени. В женском туалете нагнулась над раковиной, и ее стошнило.

Ошибки быть не могло. Альберт засовывал язык ей в рот. Она беременна.

Имевшихся в распоряжении Джин-Луизы сведений о взрослых нравах и нормах морали было немного, но достаточно: она знала, что ребенка родить можно и не выходя замуж. Как это происходит, она до сегодняшнего дня не знала и знать не хотела, потому что ей было неинтересно, но если какой-то несчастной девушке случалось родить ребенка без мужа, все ее семейство погружалось в пучину бесчестья. До Джин-Луизы изредка доносились пространные рацеи тетушки Александры на этот счет – допустившую Позор Семьи отсылали в Мобил или держали взаперти, чтобы не попадалась на глаза порядочным людям. И члены опозоренной семьи никогда уж больше не ходили с гордо поднятой головой. Однажды такое произошло на улице, ведущей в Монтгомери, и дамы-соседки шушукались и квохтали несколько недель кряду.

Джин-Луиза ненавидела себя, Джин-Луиза ненавидела весь мир. Она ведь не сделала никому ничего плохого. За что же ей такая кара – она ведь ни в чем не виновата?

Она незаметно выбралась из школы, пошла домой, прокралась на задний двор, вскарабкалась на сирень и просидела там до обеда.

Обед был долог и проходил в молчании. Она едва сознавала, что за столом сидят Аттикус и Джим. После обеда опять залезла на дерево и сидела там до тех пор, пока не наступили сумерки и не раздался голос Аттикуса.

– Слезай, – сказал он. Джин-Луиза была так несчастна, что ледяному тону не удивилась. – Звонила мисс Блант, сказала, что ты ушла из школы на перемене и не вернулась. Где ты была?

– На дереве сидела.

– Тебе что, нездоровится? Я ведь сказал – если неважно себя почувствуешь, мигом к Кэлпурнии.

– Все нормально.

– Если так, можешь ли ты представить убедительные оправдания своей выходке? Уважительные причины есть?

– Нету.

– В таком случае позволь сказать тебе вот что. Если это повторится, пеняй на себя. Поняла?

– Поняла.

Она едва-едва удержалась, чтобы не признаться отцу и переложить свое бремя на него, но смолчала.

– Ты точно не заболела?

– Нет.

– Тогда ступай в дом.

За ужином ей ужасно хотелось швырнуть полную тарелку в Джима, который с превосходством пятнадцатилетнего вел взрослый разговор с Аттикусом. И время от времени поглядывал на нее с пренебрежением. Не беспокоясь, мысленно пообещала она ему, ты свое получишь. Но не сейчас.

Каждое утро она просыпалась, и ее, как котенка, переполняла живая, игривая бодрость, которая тотчас сменялась томительным страхом; каждое утро она ожидала появления ребенка. Днем мысль об этом никогда не уходила далеко и надолго, непременно возвращалась в самые неподходящие моменты и опять вторгалась в сознание, шептала ей что-то насмешливое.

Она искала *ребенка* в словарях, но нашла немного, поискала *рождение* — и того меньше. Наткнулась на старинную книгу под названием «Демоны, снадобья и доктора»^[39] и перепугалась до безмолвной истерики при виде средневековых кресел для рожениц, жутких щипцов и прочих инструментов, особенно когда вычитала там, что иногда женщин для

ускорения родов снова и снова швыряли об стену. Постепенно она собрала сведения, расспрашивая одноклассниц, – дабы не вызвать подозрений, старалась, чтобы от одного вопроса до другого прошла неделя или две.

Кэлпурнию она избегала, сколько можно было, поскольку считала, что та ей солгала. Кэлпурния сказала – у всех девочек это бывает, это так же естественно, как дышать, и свидетельствует, что они растут, а продолжается лет до пятидесяти с лишним. В тот раз Джин-Луиза ужаснулась, что когда эта мука наконец кончится, ей в силу преклонного возраста будет уже не до радостей жизни, а потому и не стала исследовать предмет глубже и всестороннее. О том, что от французского поцелуя бывают дети, Кэлпурния ничего не сказала.

Порой Джин-Луиза выпрашивала кухарку насчет семейства Оуэнов. Та отвечала, что даже говорить об этом не желает, потому что мистер Оуэн и на человека-то не похож. И его засадят надолго. Да, сестру Фрэнсин отправили, бедняжку, в Мобил. А Фрэнсин определили в баптистский приют в округе Эбботт. А ей, Джин-Луизе нечего забивать себе голову всякими глупостями. Кэлпурния начинала свирепеть, и Джин-Луиза сворачивала беседу.

Когда выяснилось, что ребенок появится только через девять месяцев, ей показалось, что ее осудили на казнь, а приговор отсрочили. Она считала недели, вычеркивая дни в календаре, но упустила из виду, что вычисления свои начала с опозданием на четыре месяца. Время шло, и она все глубже погружалась в беспомощный панический ужас – вот однажды она проснется, а рядом лежит ребенок. Она твердо знала, что дети растут в животе.

От одной мысли, которая долго зрела у нее, она неосознанно отшатывалась – даже думать о том, чтобы навсегда уйти из дому, было невыносимо, но Джин-Луиза знала: настанет день, когда откладывать будет нельзя и скрывать поздно. Хотя такого разлада с Аттикусом и с Джимом у нее еще не бывало («Ты в последнее время стала совершенно шальная, – говорил отец. – Неужели ты не можешь сосредоточиться хоть на пять минут?!»), она и на миг представить себе не могла, что останется без них, пусть хоть в райских куцах. Но если ее отправят в Мобил, а ее близкие понуро понесут бремя позора – нет, такого она не пожелает даже тетушке.

Ребенок, согласно ее расчетам, должен появиться в октябре – значит, тридцатого сентября она покончит с собой.

* * *

В Алабаму осень приходит поздно. Даже на Хэллоуин с садовых стульев еще не свисают до земли тяжелые пальто гостей. Сумерки долги, но темнеет вдруг; и пяти шагов не успеешь сделать, как глухо-оранжевое небо становится иссиня-черным, а вместе со светом, даруя приятную прохладу, уходит и последний сполох дневного зноя.

Никогда не бывало ей так хорошо, как осенью. Ее звуки и краски были предвкушением; глуховатый «тбум» кожаного мяча и молодые тела на стадионе возле дома наводили на мысли об оркестрах и холодной кока-коле, о пересохшем арахисе и облачках дыхания в воздухе. Даже скорое начало занятий сулило что-то – возобновление прежних вражды и дружбы, недели, которые уйдут на то, чтобы вспомнить забытое за долгое лето. Осень – как горячий ужин, когда с аппетитом съедается все, на что утром спросонок и смотреть не хотелось. И мир ее вступал в лучшую свою пору, как раз когда пришло время покинуть его.

Сейчас ей было двенадцать, и она училась в седьмом классе. Возможностей насладиться переходом из начальной школы в среднюю было маловато – ее не радовало, что на уроки ходит из кабинета в кабинет, что ее учат разные учителя, она не гордилась, что где-то там, в высях старших классов у нее есть брат. Аттикус отбыл в Монтгомери на сессию законодательного собрания, да и Джима она видела так редко, словно и он тоже был в отъезде.

Тридцатого сентября она высидела уроки до конца и не усвоила ничего. Потом пошла в библиотеку и пробыла там, пока школьный сторож ее не выставил. Тогда она медленно, оттягивая неизбежную минуту, побрела по городу. День уже меркнул, когда она, миновав ведущую от лесопилки узкоколейку, вышла к леднику. Хозяин Теодор поздоровался с ней, а она прошла мимо и потом оглядывалась, пока он не скрылся внутри.

Невдалеке стояла немного на отшибе водонапорная башня. Такого высокого сооружения Джин-Луиза никогда и нигде больше не видала. Узенькая лесенка вела с земли на галерею, опоясывавшую бак.

Джин-Луиза отшвырнула учебники и начала подъем. Когда забралась выше персидских сиреней, что росли у нее на заднем дворе, и взглянула вниз, закружилась голова, и весь оставшийся путь она смотрела только вверх.

Мейкомб был как на ладони. Казалось, она даже различает свой дом – Кэлпурния, наверно, печет кексы, скоро придет с тренировки Джим. Она взглянула через площадь и заметила Генри Клинтонна. Совершенно точно он – вот вынес пакеты с покупками из дверей супермаркета, положил на заднее сиденье чьей-то машины. Разом зажглись все уличные фонари, и от

этого ей вдруг стало так приятно, что она улыбнулась.

Потом уселась на узкой галерее, свесила ноги. Следом за первым башмаком слетел второй. Интересно, как ее будут хоронить? Наверно, старая миссис Дафф всю ночь не сомкнет глаз, будет всем давать расписаться в книге. Джим заплачет? Если да, то впервые в жизни.

Прыгнуть «ласточкой» или просто соскользнуть? Если она ударится о землю спиной, может, будет не так больно? Интересно, они когда-нибудь узнают, как сильно она их всех любила?

Кто-то схватил ее сзади. Чьи-то руки крепко притиснули ей локти к бокам. Руки Генри, выпачканные зеленью. Без единого слова он вздернул ее на ноги и потащил по крутым ступенькам.

Когда спустились, Генри дернул ее за волосы:

– Будь я проклят, если не расскажу мистеру Финчу о твоих художествах! Я клянусь, Глазастик! Ты соображаешь, что делаешь? Чего тебя понесло на верхотуру? Другого места играть не нашла? Ты же могла убиться!

И снова дернул так, что даже вырвал несколько волосков; потряс ее за плечи, потом стащил с себя белый передник, скомкал и злобно швырнул наземь.

– Ты понимаешь, что могла сверзиться?! Совсем дурочка, да?

Джин-Луиза смотрела на него безучастно.

– Теодор видел, как ты сюда забрела, побежал сказать мистеру Финчу, а его же нет. Он тогда ко мне. О господи...

Тут он заметил, как ее колотит дрожь, и понял, что на водокачку она забралась не за тем, чтобы поиграть. И, слегка придерживая за шею, повел домой, а по дороге все допытывался, что ее гнетет, но ответа не получил. Дома оставил ее в гостиной, а сам пошел на кухню.

– Ангел мой, да где ж тебя носило?

Когда Кэлпурния разговаривала с ней, в ее голосе всегда звучала смесь ворчливой нежности и мягкого недовольства.

– А вы, мистер Хэнк, шли бы лучше к себе в магазин, – сказала она. – Мистер Фред хватится вас, будет недоволен.

Потом, решительно жуя веточку амбрового дерева, опять обратилась к Джин-Луизе:

– Что такое с тобой? Что стряслось? Зачем полезла на водокачку? – И, не получив ответа, продолжила: – Скажи мне, я мистеру Финчу словечком не обмолвлюсь. Что ты такая – как в воду опущенная? Что случилось?

Она села рядом. С годами Кэлпурния немного расплылась, стала близоруко щуриться, в курчавых волосах пробились седина. Она сложила

руки на коленях, взгляделась в них.

– Нет на свете такого, чего бы ты не могла сказать, нету.

Джин-Луиза прижалась к ней. Огрубевшие руки гладили и растирали ее плечи и спину.

– У меня будет ребенок! – всхлипнула она.

– Когда?

– Завтра!

Кэлпурния приподняла ее, вытерла ей лицо краешком фартука.

– Скажи ты мне, Бога ради, с чего это ты взяла, а?

Захлебываясь слезами, Джин-Луиза поведала ей свой позор, не утаив ничего, и только просила, чтоб не отправляли в Мобил, не раскорячивали на кресле и не швыряли об стенку.

– Может, я у тебя спрячусь, а? Кэл? Пожалуйста?..

Она умоляла, чтобы кухарка тайно ей помогла, а потом, когда ребенок родится, они ночью куда-нибудь его унесут.

– И все это варилось у тебя в голове столько времени? Чего же ты мне-то не сказала?

Она чувствовала, как тяжелая рука обнимает ее, утешая и умиротворяя. Кэлпурния бормотала:

– ...чего только в головку эту не взбредет, Боже ты мой... убила бы своими руками, кто такое рассказывает...

– Кэл, ты мне поможешь, да? – робко спросила она.

– Помогу, дитятко мое, как Бог свят, помогу. Ты только одно пойми – ничего ты не беременна и не была никогда. Это все не так происходит.

– А как? А что же тогда со мной?

– Надо же – такую уйму книжек прочитала, а осталась чистой дурочкой... Сроду таких глупых девочек не видала. – Голос ее дрогнул. – ...Да и не с чего было...

Обстоятельно и неторопливо Кэлпурния повела свой незамысловатый рассказ. Джин-Луиза слушала, и постепенно путанные и противоречивые сведения, которые она собирала чуть не целый год, обретали ясные очертания, и по мере того, как хриловатый голос кухарки расчищал скопленный за это время ужас, Джин-Луиза чувствовала, что к ней возвращается жизнь. Она вздохнула полной грудью и ощутила где-то в гортани свежую прохладу осени. Услышала, как скворчат на кухне сосиски, увидела на столике в гостиной спортивные журналы, которые собирал Джим, учуяла сладковато-терпкий запах ее напomaженных волос.

– Кэл... – сказала она. – Как же я раньше-то этого не знала?

Кухарка наморщила лоб, поразмыслила.

– Ну, так уж вышло, жизнь твоя так сложилась, мисс Глазастик... Вот если б ты росла на ферме, знала бы еще с пеленок... Или если б в доме еще женщины были... Вот была бы жива твоя мама, ты бы знала...

– Мама?

– Ну да. Ты б видела, как мистер Финч ее целует, стала бы спрашивать, что да как и что к чему, едва говорить бы выучилась.

– И что, они всё это делали?

Во рту Кэлпурнии блеснули золотые коронки:

– А как, по-твоему, ты на свет появилась? Откуда взялась? Конечно, все.

– Да ну вряд ли.

– Деточка моя, вот подрастешь еще – и возьмешь в толк, как это бывает. Твои папа с мамой любили друг дружку ужасно, а когда так любят, мисс Глазастик, то и хочется, значит, пожениться, целоваться-обниматься и всякое прочее, и детей делать беспрестанно.

– Я не верю, что тетя и дядя Джим тоже...

Кэлпурния опустила глаза и потеряла свой фартук:

– Люди все разные и женятся для разного. Вот мисс Александра, мне сдается, замуж пошла, чтоб своим домом зажить. – Она почесала в затылке. – Но этого даже и знать не надо, нечего этим голову себе забивать. О чужих делах хорошо думать, когда свои наладишь.

Она поднялась.

– А твое дело пока – поменьше слушать, что там болтает эта деревенщина из Старого Сарэма. Спорить с ними не вздумай, только пропускай все мимо ушей, а захочешь узнать, что да как, – беги скоренько к старой Кэл: она растолкует.

– А чего же ты мне сразу не объяснила?

– Ну, понимаешь... началось-то все у тебя рановато, и ты вроде не обрадовалась... Мы и решили, что прочее тебе тоже не понравится. Мистер Финч сказал – подождем, мол, пусть обвыкнет-освоится, мы с ним и думать не думали, что ты поймешь все так быстро и так шиворот-навыворот.

Джин-Луиза сладко потянулась и зевнула во весь рот, наслаждаясь вновь обретенным бытием. Ее клонило в сон – едва ли она дотянет до ужина.

– У нас сегодня горячие кексы, Кэл?

– Да, хозяйка.

Из гостиной она слышала, как хлопнула входная дверь и Джим вошел в прихожую. Сейчас ворвется на кухню, откроет холодильник и выпьет залпом кварту молока: после тренировки он всегда умирает от жажды. И

прежде чем дремота сморила ее, еще успела подумать, что Кэлпурния впервые в жизни сказала ей «мисс» и «да, хозяйка» – обычно она обращалась так только при посторонних да и то – не каких попало. «Я теперь большая, что ли?» – мелькнуло у нее в голове.

Джим разбудил ее, щелкнув выключателем люстры. Джин-Луиза смотрела, как он идет к ней – и на белом свитере горит большая буро-малиновая буква «М».

– Проснулась, Трехглазка?

– Не издевайся, – сказала она. Если Генри или Кэлпурния успели разболтать, что с ней было, она умрет со стыда, но и их с собой заберет.

И посмотрела на брата. Волосы у него были влажные, и от него сильно пахло мылом из школьной душевой. Лучше самой начать, подумала она.

– Ага, курил! Несет за милю.

– Да не курил я.

– Вот посмотрим, как ты будешь играть центра. Ты же тощий как скелет.

Джим, не поддаваясь, ответил на ее уловку улыбкой. Точно, они ему сказали.

– Знаешь, кто я? – сказал он, похлопав по букве «М» натруди. – Старый-Финч-Не-Мажет. Семь из десяти взял сегодня.

Он подошел к столику, развернул футбольный журнал, начал листать и, листая, добавил:

– Слышь, Глазастик, если вдруг с тобой что случится... ну, такое, о чем не захочешь говорить Аттикусу...

– А?

– В передрагу какую попадешь, мало ли... В общем, ты скажи мне – и все. Я разберусь.

И он неспешно удалился из гостиной, а Джин-Луиза осталась таращить глаза и гадать, не сон ли это все.

Солнце разбудило ее. Она поглядела на часы. Пять. Ночью кто-то ее укрыл. Она откинула одеяло, села и несколько минут посидела, глядя на свои длинные ноги и дивясь, что им двадцать шесть лет. Ее мокасины смиренно стояли там, где она сбросила их двенадцать часов назад. Один носок лежал рядом, а другой оказался на ноге. Она сняла его, прошлепала босиком к туалетному столику, взглянула на себя в зеркало.

Отражение ее не обрадовало. Мистер Бёрджесс сказал бы в этом случае: «Страдает кошмарами»^[40]. Ей-богу, я уж лет пятнадцать, наверно, не просыпалась в таком состоянии. Так, сегодня понедельник, приехала я в субботу. Мне еще одиннадцать дней каникул, а я уже просыпаюсь чуть не в истерике. И сама засмеялась: а еще говорят, что у слонов долгая память!

Она взяла пачку сигарет, три длинных кухонных спички, сунула их за целлофановую обертку, тихо вышла в холл. Открыла деревянную дверь, потом москитную сетку.

В любой другой день она долго стояла бы босиком на росистой траве, слушая, как заливаются спозаранку пересмешники; раздумывала бы о бессмысленности этой суровой красы, что беззвучно обновляется с каждым восходом солнца и половиной человечества просто не замечается. Она прошла бы под вознесенными в сияющее небо желтыми кронами сосен, и чувства ее открылись бы навстречу радости утра.

Утро тыло в ожидании, хотело принять ее, но она не смотрела, не слушала. У нее было две минуты мира и покоя, пока не нахлынуло вчерашнее, – ничто на свете не может испортить удовольствие от первой утренней сигареты. Джин-Луиза выпустила плотную струйку дыма в неподвижный воздух.

Потом осторожно дотронулась до вчерашнего – и немедленно отдернула руку. Нельзя мне сейчас об этом думать, мысленно сказала она, пусть схлынет хоть немного. Странно; похоже на физическую боль. Говорят, если нет больше сил сносить ее, тело само встает на свою защиту – и тогда выбивает пробки, и ты уже ничего не чувствуешь. Господь каждому посылает ношу по силам...

Эту фразу спокон веку в Мейкомбе повторяли хрупкие дамы, соболезнуя родственникам усопших, и предполагалось, что она дарует утешение и смягчает боль свежей утраты. Ну и ладно, Джин-Луиза тоже утешится. Проведет две недели дома в учтивом отчуждении – ничего не

скажет, ни о чем не спросит, ни в чем не упрекнет. Постарается в данных обстоятельствах вести себя наилучшим образом.

Локти она уперла в колени, ладонями обхватила голову. Господи, лучше бы я застукала вас обоих с двумя грязными потаскухами – а траву на лужайке, видно, давно не подстригали.

Джин-Луиза встала, пошла к гаражу, подняла дверь. Выкатила газонокосилку, отвернула крышку, проверила, сколько в баке бензину. Завинтила крышку, нажала рычажок, одну ногу поставила на машинку, другой крепко уперлась в землю и дернула пусковой шнур. Мотор дважды чихнул и стих.

Ах, чтоб тебя, залила!

Она выкатила косилку на солнце и вернулась в гараж, где вооружилась тяжелыми садовыми ножницами. Направилась к кульверту у начала подъездной дорожки и стала подстригать самую буйную траву, выросшую у обоих отверстий дренажной трубы. Что-то шевельнулось у нее под ногами, и она накрыла ладонью сверчка. Подсунула снизу правую ладонь. Сверчок отчаянно бился, и она отпустила его, сказав:

– Поздно гуляешь. Беги домой, к маме.

Взобравшийся по склону грузовичок затормозил перед ней, и соскочивший с подножки чернокожий парень вручил ей три кварты молока. Она отнесла их на крыльцо, а на обратном пути попробовала снова завести газонокосилку. На этот раз мотор заработал.

Она удовлетворенно оглядела гладкий прокос. Скошенная трава лежала рядом и благоухала. Была бы у мистера Вордсворта газонокосилка, курс английской литературы выглядел бы совершенно иначе.

Что-то заслонило ей обзор, и она подняла глаза. Тетушка стояла на крыльце и подавала ей знаки «подойди-сюда-сию-минуту». Кажется, она уже в корсете. Вот интересно, она ворочается в постели с боку на бок?

Серьезные сомнения в этом возникали при взгляде на мисс Александру: густые седые волосы, как всегда, гладко причесаны, на лице ни капли косметики, и это мало что меняло. Интересно, хоть что-нибудь она чувствовала в жизни? Фрэнсис, появляясь на свет, наверно, причинил ей боль, но хоть что-нибудь еще ее трогало?

– Джин-Луиза! – свистящим шепотом произнесла тетюшка. – Ты этой штукой перебудешь половину Мейкомба. Отца ты уже разбудила, а он ночью глаз не сомкнул. Прекрати сейчас же!

Джин-Луиза выключила мотор, и внезапная тишина нарушила объявленное ею перемирие с домашними.

– И тебе пора бы знать, что босиком лужайки не подстригают. Финк

Сьюэлл таким манером трех пальцев лишился, а Аттикус прошлой осенью убил трехфутовую змею на заднем дворе. Поистине, Джин-Луиза, беспечность – твоя геркулесова пята.

Джин-Луиза невольно ухмыльнулась. Тетушка обладала непревзойденным даром путать похожие слова, и наивысшим ее взлетом по этой части было замечание, отпущенное по адресу младшего члена одного еврейского семейства из Мобила на празднике по случаю его тринадцатилетия: мисс Александра заявила тогда, что в жизни своей не видала такого обжору, как этот Аарон Штейн, умявший четырнадцать кукурузных початков после того, как зажег в свою честь менопаузу – она хотела сказать «менору».

– Почему ты не отнесла молоко в дом? Скисло небось уже.

– Не хотела вас будить, тетя.

– Ну, мы уже встали, – сурово отвечала та. – Завтракать будешь?

– Кофе бы я выпила. Больше ничего не хочу.

– Оденешься и съездишь в город. Отвезешь Аттикуса. Он сегодня совсем никуда не годится.

Джин-Луиза пожалела, что не осталась в постели, пока Аттикус не уехал, но сообразила, что он все равно разбудил бы ее и попросил отвезти.

Прошла в дом, на кухню и села к столу. И уставилась на жутковатое приспособление, которое тетушка поставила у отцовского прибора. Аттикус наотрез отказывался, чтобы его кормили, и доктор Финч придумал выход из положения – приделал к черенкам вилки, ножа и ложки большие деревянные держак.

– Доброе утро, – услышала она: в кухню вошел отец.

Джин-Луиза сидела, не поднимая глаз.

– Доброе утро, сэр.

– Я слышал, тебе нездоровилось вчера. Заходил к тебе, но ты спала – и очень крепко. Сегодня получше?

– Да, сэр.

– А так не скажешь...

Аттикус попросил Господа благословить всех и эти дары Его, которые они принимают от щедрот Его, взял стакан с молоком, но не удержал, и молоко пролилось ему на грудь, потекло на стол.

– Виноват, – сказал он. – По утрам мне бывает весьма...

– Не трогай, не трогай, я все сделаю! – Джин-Луиза вскочила, метнулась к раковине, два полотенца расстелила на столе, из шкафа достала третья, чистое, и принялась осторожно промокать брюки и грудь рубашки.

– Я разорюсь на прачечной, – сказал Аттикус.

– Да уж.

Тетушка положила ему на тарелку бекон с яйцом и тост. Улучив момент, когда отец занялся завтраком, Джин-Луиза наконец решилась на него посмотреть.

Он не изменился. Лицо такое же, как всегда. С чего я решила, что он будет как Дориан Грей?

От телефонного звонка ее буквально подбросило.

Она все никак не могла привыкнуть, что здесь звонят в шесть утра, в час Мэри Уэбстер. Александра взяла трубку, ответила и вернулась на кухню.

– Тебя, Аттикус. Это шериф.

– Спроси, пожалуйста, что ему нужно.

Тетушка снова скрылась и снова появилась:

– Там кто-то его просил тебе позвонить...

– Пусть позвонит Хэнку. И передаст ему все, что хотел сказать мне. –

И повернувшись к дочери, добавил: – Какое счастье, что у меня есть младший партнер и не менее младшая сестрица. Что один пропустит, то другая поймает. Интересно, что понадобилось от меня шерифу спозаранку?

– Мне тоже интересно, – тускло произнесла она.

– Девочка моя, я думаю, тебе стоит показаться Аллену. Ты на себя не похожа.

– Хорошо, сэр.

Покуда отец ел, она продолжала незаметно его рассматривать. Он управлялся с громоздкой конструкцией, как с обычными столовыми приборами. Джин-Луиза метнула вороватый взгляд на его лицо – оно было покрыто седой щетиной. Носи Аттикус бороду, она была бы уже совсем белая, но голова еще только начинала седеть, и брови оставались густо-черными. А вот дядя Джек уже сплошь седой, да и тетушка тоже. А вот когда я начну седеть, то с чего начну? А почему я об этом думаю, хотелось бы знать?

– Извини, – сказала она и с чашкой кофе ушла в гостиную. Поставила чашку на журнальный столик и когда отдергивала шторы, увидела в окно, что к дому заворачивает машина Генри. У окна он ее и нашел.

– Доброе утро. Ты чего бледная такая? Прямо зеленая?

– Спасибо. Аттикус на кухне.

И Генри тоже был прежним. Вероятно, ночью он выспался, и его шрам был почти незаметен.

– Ты что – дуешься на меня? Я тебе помахал вчера, но ты, видно, не заметила.

– Ты видел меня на балконе?

– Видел. Думал, ты нас дождешься, но нет. Как себя чувствуешь сегодня? Получше?

– Да.

– Ты, я вижу, сильно не в духе...

Джин-Луиза допила кофе, сказала себе, что хочет еще, и следом за Генри вернулась на кухню. Крутя на указательном пальце ключи от машины, он прислонился к раковине. Какой он высокий, подумала Джин-Луиза, головой вровень со шкафами. Я, наверно, никогда больше не смогу сказать ему ни единого вразумительного слова.

– ...следовало ожидать, – говорил меж тем Генри. – Рано или поздно должно было.

– Пьяный был?

– В стельку. Накачивался всю ночь в любимой забегаловке. Там же до утра наливают.

– Что случилось? – спросила Джин-Луиза.

– Да понимаешь ли, милая, Зибо-младший, – сказал Генри. – Шериф его арестовал, а он попросил позвонить мистеру Финчу, чтобы приехал и вытащил...

– А в чем дело-то?

– Сегодня на рассвете ехал из негритянского квартала, несся как угорелый и сбил старого мистера Хили, когда тот дорогу переходил. Задавил насмерть.

– О господи...

– Чья машина была? – спросил Аттикус.

– Отцовская, я так думаю.

– И что ты сказал шерифу?

– Попросил передать Зибо-младшему, что вы не станете встречать в это дело.

Аттикус поставил локти на стол и откачнулся назад.

– Это ты напрасно сделал, Хэнк, – сказал он мягко. – За это дело мы, разумеется, возьмемся.

Слава тебе, Господи. Джин-Луиза чуть заметно вздохнула, потерла глаза. Зибо-младший приходился Кэлпурнии внуком. Все, что угодно, мог забыть Аттикус, но не это. Вчера стремительно истаивало, исчезало, превращаясь в дурной сон. Бедный мистер Хили, наверняка был так пьян – и понять ничего не успел.

– Но как же, мистер Финч... – начал Генри. – Я думал, никто из...

Аттикус расслабил руку на подлокотнике. Сосредоточенно размышляя,

он имел обыкновение перебирать звенья часовой цепочки и бесцельно шарить в жилетном кармане. Сейчас его руки были неподвижны.

– Я предполагаю, Хэнк, что когда выяснятся все обстоятельства дела, наилучшим выходом для парня будет признать себя виновным. А для нас – стать рядом с ним перед судом, не допустив, чтобы он попал не в те руки.

Лицо Генри медленно расплылось в улыбке:

– Я понял, мистер Финч.

– А я вот нет, – вмешалась Джин-Луиза. – У кого это «не те руки»?

Аттикус повернулся к ней:

– Глазастик, ты, наверно, не знаешь: нанятые Ассоциацией адвокаты только и ждут такого – кружат как стервятники над падалью.

– В смысле – цветные?

– Именно, – кивнул Аттикус. – В штате их сейчас не то трое, не то четверо. Главным образом, где-нибудь в Бирмингеме, но кочуют из одного судебного округа в другой, следят и ждут, когда чернокожий совершит преступление против белого, – и не поверишь, как скоро об этом узнают! – и вот тогда являются и... ну, чтобы тебе было понятно – требуют включить в число присяжных негров. Грозят вчинить иск чиновникам, формирующим жюри, требуют отвода судьи, используют каждую зацепку, чтобы придраться, – а это они умеют, – делают все, чтобы судья допустил ошибку. И из кожи вон лезут, чтобы дело передали в федеральный суд, а уж там карты лягут так, как им нужно. В соседнем округе такое уже было, и нигде не сказано, что это не может случиться у нас.

Он обернулся к Генри:

– Вот поэтому я и говорю, что мы в это дело встрянем непременно, раз он хочет.

– Я думала, Ассоциация в Алабаме запрещена, – сказала Джин-Луиза.

Аттикус и Генри рассмеялись:

– Ты ведь не знаешь, что творилось в округе Эбботт, когда там такое произошло. Весной нам совсем уж было показалось, что дело плохо. До того дошло, что даже здесь, за рекой, раскупали все боеприпасы, какие только...

Не дослушав, Джин-Луиза вышла. Из гостиной до нее донесся ровный голос отца:

– ...этому надо будет воспрепятствовать... хорошо, что он потребовал защитника из Мейкомба...

Кофе просился наружу, но она не поддастся, пусть хоть земля перевернется или начнется потоп. К кому в трудную минуту неизменно прибегали люди из племени Кэлпурнии? Скольких разводов добился

Аттикус для Зибо-старшего? Пяти, по меньшей мере. От какого брака этот парнишка? На этот раз он влетел серьезно, ему нужна настоящая помощь, а эти двое сидят на кухне и толкуют об Ассоциации... еще недавно Аттикус сделал бы это просто по доброте душевной, ради старухи Кэлпурнии. Сегодня же утром надо с ней повидаться...

Что же за морок напал на людей, которых она так любила? Потому ли ей предстало все так отчетливо, что она не варится в этом котле? Развивалось ли это постепенно, годами? Или было всегда, у нее под носом, а она просто не замечала? Нет, вот уж это нет. Что заставляет обычных людей во всю глотку выкрикивать мерзкие слова, отчего ее близкие так ожесточились и зачерствели сердцем, что произносят слово «черномазый», невозможное прежде в их устах?

– ...и, надеюсь, им укажут их место, – сказала тетушка, входя в гостиную вместе с Аттикусом и Генри.

– Это само собой разумеется, – сказал Генри. – Все сделаем, как положено. – И спросил Джин-Луизу: – В половине восьмого, да?

– Да.

– Могла бы хоть порадоваться слегка.

– Ты ей уже надоел, Хэнк, – усмехнулся Аттикус.

– Давайте я свезу вас в город, мистер Финч? Понимаю, что еще рано, зато не жарко, я по прохладе с делами хочу управиться.

– Нет, спасибо. Глазастик меня доставит.

Так неожиданно прозвучавшее детское имя словно хлестнуло ее. Никогда больше не смей меня так называть. Тот, кто называл меня так, умер и в землю зарыт.

– Я дам тебе список того, что надо купить в городе, – сказала тетушка. – Только сходи переоденься. Съезди, «Джитни Джангл» уже открыт, а потом вернешься за папой.

Джин-Луиза пошла в ванную, пустила горячую воду. Потом у себя в комнате вынула из шкафа платье, перекинула его через руку. В чемодане нашла туфли на плоской подошве, трусики и все это унесла в ванную.

Взглянула на себя в зеркало на дверце аптечки. Ну, и кто у нас тут Дориан Грей?

Коричневато-синие подглазья, складки от ноздрей к углам губ обозначились резче. Понятно, откуда это. Оттянула одну щеку, посмотрела на тонкую морщину. Да и наплевать. К тому времени, как я буду готова к замужеству, мне стукнет девяносто, и будет поздновато. Кто меня похоронит? Я младшая в семье – тоже причина обзавестись детьми.

Она пустила в ванну струю холодной воды, и, когда можно стало

терпеть, залезла, поскребла себя, не особенно усердствуя, выдернула затычку, вытерлась, быстро оделась. Ополоснула ванну, вытерла руки, повесила полотенце и вышла.

– Губы намажь слегка, – молвила тетушка, встретив ее в холле. А сама достала из шкафа пылесос.

– Оставь: вернусь – все сделаю.

– Когда вернешься, все уже будет сделано.

* * *

Солнце еще не прокалило мостовые Мейкомба, но намеревалось вскорости приняться за дело. Джин-Луиза остановила машину перед бакалеей.

Внутри мистер Фред пожал ей руку, сообщил, что очень рад ее видеть, вынул из автомата влажную бутылку кока-колы, вытер о фартук и протянул ей.

Что бы там в жизни ни было, это пребудет неизменным, подумала она. Сколько отпущено мистеру Фреду, сколько раз она будет приходить сюда и столько будет слышать его... простой привет. Где это было? В «Алисе»? Или это Братец-Кролик? А-а, нет – Крот. Крот, утомленный долгим путешествием, возвращался и обнаруживал, что домашние встречают его немудрящим приветом^[41].

– Я тебе наберу по списку, а ты пока пей, – сказал мистер Фред.

– Спасибо, сэр. – Она заглянула в список и вытаращила глаза: – Тетушка с каждым днем все больше похожа на кузена Джошуа. На что ей сдались «коктейльные салфетки»?

Мистер Фред хмыкнул:

– Мне думается, она имеет в виду «салфетки для фуршетов». Вот не знал, что мисс Александра пьет коктейли.

– И не узнаете.

Мистер Фред ушел в глубь магазина и оттуда спросил:

– Слышала уже про мистера Хили?

– Ну... э-э, – ответила Джин-Луиза, которая недаром была дочерью адвоката.

– Так и не понял, наверно, от чего погиб. Сам не знал, куда идет и где начнет пьянствовать, несчастный старик... Сроду не видал, чтобы человек лил в себя столько поила... Единственное его достижение в жизни.

– Но он же вроде играл на джаге?^[42]

– Играл. Помнишь, когда устраивали смотр талантов в здании суда? Он всегда приходил с джагом, полным до краев, отпивал, чтобы понизить тон, потом еще, чтобы уж совсем басовито выходило, а уж потом исполнял свое соло. И вечно играл «Старину Дэна Такера»^[43], и наши дамы возмущались, да только доказать-то ничего было нельзя.

– На что он жил?

– Пенсию получал, я думаю. Он вроде воевал с испанцами... честно говоря, я знаю, что где-то он воевал, но вот где – не помню... Держи, вот твои покупочки.

– Спасибо, мистер Фред, – сказала Джин-Луиза. – Вот черт, я деньги забыла взять... Запишете за Аттикусом? Он на днях заедет.

– Конечно, деточка, не беспокойся. Как он, кстати, поживает?

– С утра было не очень, но у себя в конторе будет, даже когда начнется всемирный потоп.

– Ты-то когда домой вернешься?

Джин-Луиза насторожилась было, но тут же поняла, что сказано это безо всякой задней мысли, бесхитростно и добродушно.

– Когда-нибудь вернусь.

– Знаешь, я ведь был на Первой мировой, – сказал мистер Фред. – За границу меня не отправили, но эту страну я повидал вдосталь. И домой меня не тянуло, так что после войны я еще лет десять по Америке колесил, но, знаешь, чем дольше меня не было, тем сильнее я тосковал по Мейкомбу. И понял однажды: либо вернусь, либо умру. Родина у человека где-то в костях сидит.

– Мистер Фред, что Мейкомб, что любой другой городишко – одно и то же. Сделаешь поперечный разрез – и...

– Нет, Джин-Луиза, это не так. И ты это знаешь.

– Вы правы, – кивнула она.

И не потому, что здесь началась твоя жизнь. А потому, что здесь люди рождались, и рождались, и рождались до тех пор, пока в итоге ты не оказалась в супермаркете «Джитни Джингл» с бутылкой кока-колы в руке.

Теперь она очень остро ощущала свою особость, отъединенность уже не только от Аттикуса и Генри. Час за часом все, кто был в Мейкомбе – в городе и во всем округе, – покидали ее, и она подспудно винила себя.

Садясь в машину, она снова стукнулась головой. Никогда, наверно, не привыкну. В философии дяди Джека все-таки есть дельные положения.

* * *

Александра доставала покупки с заднего сиденья. Джин-Луиза открыла дверцу перед отцом; потом перегнулась через его колени и дверцу прихлопнула.

- Тебе нужна будет машина, тетя?
- Нет, дитя мое. Собираешься куда-то?
- Собираюсь. Тут неподалеку.

Она не сводила глаз с дороги. Я все могу, не могу только смотреть на него, слушать его, говорить с ним.

– Спроси мистера Фреда, сколько мы ему должны, – сказала она, затормозив у парикмахерской. – А то я забыла вынуть чек из пакета. Обещала, что ты заплатишь.

Открыла ему дверцу, и Аттикус вылез на мостовую.

– Осторожней!

– Ничего, он меня не задел. – И Аттикус помахал вслед проехавшему автомобилю.

Она обогнула площадь и по магистрали двинулась к развилке. Вроде бы здесь это случилось.

На красноватом гравии виднелись бурые пятна – она ехала по крови мистера Хили. Добравшись по грунтовке до следующей развилки, свернула направо, на проселок – такой узкий, что ее большой автомобиль занимал его весь без остатка. Джин-Луиза ехала, пока можно было.

Дальше путь перекрывали машины, поставленные наискось – задними колесами за обочиной. Она приткнулась за крайней в ряду, вылезла. Прошла вдоль шеренги машин – мимо «форда» 1939 года, сомнительно-винтажного «шевроле», «виллиса» и зеленовато-синего катафалка, где на передней дверце в хромированный полукруг было вписано НЕБЕСНЫЙ ПОКОЙ. Преодолевая страх, заглянула внутрь, увидела несколько рядов сидений, привинченных к полу, однако места для тела – живого или мертвого – не обнаружила. Сообразила, что это, должно быть, такси.

Она сняла проволочное кольцо с воротного столбика и шагнула во двор. Его, видимо, недавно подмели – на земле еще виднелись следы метелки и отпечатки босых ступней.

На крыльце домика Кэлпурнии стояли негры, кто в чем – несколько женщин явно принарядились, одна даже не сняла ситцевый фартук, другая осталась в том же, в чем работала в поле. В одном из мужчин Джин-Луиза узнала профессора Честера Самптера, директора самого крупного в округе

Мейкомб технического училища для негров «Маунт-Синай». Профессор был, как всегда, в черном с ног до головы. Второго – тоже в черном костюме – Джин-Луиза не знала, но догадалась, что это священник. Зибо-старший был в рабочем платье.

Заметив ее, все дружно выпрямились и отступили, сплотились. Мужчины обнажили головы, женщина в фартуке спрятала под ним руки.

– Доброе утро, Зибо, – сказала Джин-Луиза.

Зибо, сломав строй, шагнул вперед:

– И вам здравствуйте, мисс Джин-Луиза. А мы и не знали, что вы домой приехали.

Она очень остро чувствовала на себе взгляды чернокожих. Они стояли молча, почтительно и смотрели на нее пристально и пытливо.

– Кэлпурния дома?

– Дома, мисс Джин-Луиза, где ж ей быть? Позвать ее?

– Можно мне войти?

– Конечно.

Люди на крыльце расступились, пропуская ее. Зибо, не зная, как поступать в таких случаях, открыл дверь и шагнул в сторону.

– Иди вперед, Зибо, – сказала она.

И последовала за ним в темную гостиную, где пахло так, как пахнет от чистоплотного негра, а еще – нюхательным табаком и лаком для волос. При ее появлении поднялись несколько смутных фигур.

– Сюда, мисс Джин-Луиза.

Прошли маленьким коридорчиком, и Зибо стукнул в некрашеную сосновую дверь:

– Мамаша, – сказал он. – Мисс Джин-Луиза пришла.

Дверь мягко отворилась, высунулась голова жены Зибо. Потом и сама она вышла в коридорчик, где им втроем было почти не повернуться.

– Здравствуй, Хелен, – сказала Джин-Луиза. – Как там Кэлпурния?

– Чуть жива, мисс Джин-Луиза... такой удар. Фрэнк ведь никогда ничего себе не позволял раньше...

Значит, Фрэнк. Больше всех в своем разнообразном потомстве Кэлпурния гордилась Фрэнком.

Он значился в списке ожидающих вакансии в университете Таскиги. Он был прирожденный водопроводчик и мог устранить любую неполадку.

Хелен – грузная, с отвисшим животом, где было выношено столько детей, – прислонилась к стене. Она была босиком.

– Зибо, – спросила Джин-Луиза. – вы с Хелен, что ли, опять вместе?

– Ну да, – благодушно ответила Хелен. – Он же старый стал.

Джин-Луиза улыбнулась Зибо, который стоял с застенчивой миной. Ей никогда не удавалось до конца постичь запутанную историю его семейной жизни. Хелен вроде бы приходилась Фрэнку матерью, но утверждать наверное Джин-Луиза бы не взялась. Она знала одинаково твердо, что Хелен – первая жена Зибо и нынешняя жена Зибо, но сколько еще их у него было в промежутке?

Она вспомнила, как много лет назад Аттикус у себя в офисе говорил об этой чете, которая как раз тогда собиралась развестись. Аттикус, желая их примирить, спросил Хелен, примет ли она мужа, если тот вернется. «Не-а, сэр, – враспяжку отвечала она. – Он с другими женщинами балуется, а со мной нет. И зачем нужен муж, от которого жене никакого проку?»

– Можно мне к Кэлпурнии?

– Да конечно, мисс Джин-Луиза. Заходите.

Кэлпурния сидела в кресле-качалке в углу у камина. В комнате стояла железная кровать, застеленная выцветшим лоскутным одеялом с узором в виде обручальных колец. По стенам висели в золотых рамочках большие фотографии каких-то негров и рекламный календарь «Кока-колы». На неструганой каминной полке теснились в ряд яркие статуэтки из пластика, фарфора, обожженной глины и молочного стекла. Лампочка без абажура свисала с потолка, бросая причудливые тени на стену.

Какая она стала маленькая, подумала Джин-Луиза, а была такая высокая.

Кэлпурния превратилась в сухонькую старушку. Глаза у нее ослабели, и она теперь носила очки в черной оправе, странно смотревшейся на лице теплого коричневого цвета. Кэлпурния подняла крупные руки, покойно сложенные на коленях, и растопырила пальцы.

У Джин-Луизы перехватило горло при виде этих костлявых пальцев, умевших быть такими нежными, когда Джин-Луиза болела, и такими жесткими, когда она плохо себя вела, этих пальцев, которым много лет назад удавалось любовно и бережно распутывать любые узелки бытия. Джин-Луиза поднесла их к губам.

– Кэл, – произнесла она.

– Садись, деточка, – сказала Кэлпурния. – Стул тут есть?

– Есть-есть... – Джин-Луиза придвинула стул и села напротив. – Кэл... Кэл, милая, я пришла сказать... если я могу чем-нибудь помочь – скажи...

– Спасибо, мисс, – сказала Кэлпурния. – Не знаю, что тут можно сделать.

– Еще хочу сказать, что мистер Финч узнал рано утром. Фрэнк попросил шерифа позвонить, и мистер Финч... ему поможет.

Слова замерли у нее на устах. Еще позавчера она произнесла бы эти самые слова в полной уверенности, что Аттикус не даст Фрэнку пропасть.

Кэлпурния кивнула. Она держала голову высоко и смотрела прямо перед собой. Наверно, плохо меня видит, подумала Джин-Луиза. Господи, сколько же ей лет? Я никогда точно не знала, да и сама она вряд ли знает.

– Не волнуйся, Кэл. Аттикус сделает все, что будет в его силах.

– Я знаю, мисс Глазастик. Он всегда делает все, что в его силах. Он всегда правильно все делает.

Джин-Луиза смотрела на старуху, открыв рот. Кэлпурния была исполнена высокомерного достоинства, накатывавшего на нее лишь в редких, особых случаях, когда она и говорила неправильно. Если бы Земля перестала вращаться, если бы деревья остановили свой рост, а на горе свистнул рак, Джин-Луиза бы не заметила.

– Кэлпурния!

Она едва разбирала слова Кэлпурнии:

– Фрэнк плохо поступил... Фрэнк виноват... и ответит... но он мне внук... я люблю его, но он сядет в тюрьму, будет ему мистер Финч помогать или не будет...

– *Кэлпурния, перестань!*

Джин-Луиза вскочила. Слезы застилали ей глаза, и она почти вслепую подошла к окну.

Старуха не шевельнулась. Джин-Луиза обернулась – Кэлпурния не шевелилась и дышала очень ровно.

Джин-Луиза опять села перед ней и почти закричала:

– Кэлпурния! Кэл, Кэл, что ты со мной делаешь?! Что такое? За что ты со мной так? Ты что – забыла меня?! Это же я! Твое дитя! Зачем ты так? Зачем отталкиваешь меня?!

Кэлпурния подняла руки и мягко опустила их на подлокотники своей качалки. Все лицо в бесчисленных мелких морщинках, за толстыми стеклами глаза тусклы.

– За что вы все с нами так? – произнесла она.

– С вами?

– С нами.

Джин-Луиза сказала медленно, будто сама себе:

– Мне и в страшном сне не могло такое привидеться. Однако же вот – это случилось. Я не могу говорить с человеком, который растил меня с двух лет... Это случилось, а я сижу и не могу поверить. Скажи мне что-нибудь, Кэл! Не смотри на меня так! Не сиди как статуя!

Она вглядывалась в старушечье лицо и знала, что все эти слова

впустую. Кэлпурния наблюдала за ней, и в глазах ее не было и намека на жалость.

Джин-Луиза поднялась.

– Скажи мне одно, Кэл. Только одно, а потом я уйду... Пожалуйста... мне надо знать. Ты нас ненавидела?

Старуха сидела молча, будто придавленная бременем прожитых лет. Джин-Луиза ждала ответа.

Наконец Кэлпурния качнула головой.

* * *

– Зибо, – сказала Джин-Луиза. – Если я что-нибудь могу для тебя сделать, ради Бога, дай мне знать.

– Ладно, мисс, – ответил тот. – Но делать вроде нечего. Что тут сделаешь, если Фрэнк убил старика? Сам мистер Финч с таким не совладает. Может, пока вы в городе, я могу вам чем пригодиться, а, мисс?

Они стояли на крыльце, где им освободили место. Джин-Луиза вздохнула:

– Да, Зибо, вот прямо сейчас – можешь. Помоги мне развернуться, а то сама я обязательно съеду прямо в кукурузу.

– Сделаем, мисс Джин-Луиза.

Она смотрела, как Зибо в несколько приемов разворачивает машину на узком проселке. Теперь, Бог даст, доберусь до дому.

– Спасибо тебе, Зибо, – устало сказала она. – Не забудь о том, что я сказала.

Тот прикоснулся к шляпе и пошел назад.

Джин-Луиза села в машину, устала на рулевое колесо. Как же это так вышло, что за двое суток сгинули все, кого я любила в этом мире? Неужели и Джим отвернулся бы от меня? Но ведь Кэлпурния любила нас, я знаю, что любила! И она сидела передо мной и видела не меня, а белых. Она вырастила меня – и ей все равно.

Но ведь не всегда так было, я клянусь, не всегда! Люди почему-то доверяли друг другу – я не помню, почему. И не смотрели друг на друга волком. И если б я поднималась по этим ступеням десять лет назад, на меня не смотрели бы как сегодня. И Кэлпурния не вела себя так ни с кем из нас... и когда умер Джим, ее обожаемый Джим, она сама едва не отправилась следом...

Джин-Луиза вспомнила, как два года назад под вечер пришла к Кэлпурнии. Та сидела у себя, как и сегодня, с очками на носу. И плакала. «С ним никогда никаких хлопот не было... За всю жизнь ни разу не доставил огорчений, мальчик мой... Привез мне подарок с войны, электрическую куртку...» Когда Кэлпурния улыбалась, лицо ее словно растрескивалось миллионом морщинок. Она достала из-под кровати большую коробку. Открыла и извлекла огромную куртку из черной кожи, какие выдавали пилотам люфтваффе. «Видишь? А тут вот включать надо». Джин-Луиза осмотрела куртку и обнаружила тоненькие проводки, присоединенные к батарее в кармане. «Мистер Джим сказал, она согреет зимой мои старые кости. Еще сказал, чтобы я не боялась, только побереглась, если гроза с молнией». Кэлпурния в пилотской куртке с электроподогревом стала предметом зависти всех друзей и соседей. «Кэл, – сказала ей тогда Джин-Луиза. – Возвращайся к нам, пожалуйста. Я покоя знать не буду в Нью-Йорке, если ты не вернешься». И это возымело действие: Кэлпурния выпрямилась и кивнула: «Ладно, вернусь. Не тревожься, деточка».

Машина медленно тронулась по дороге. *Эни-бени, трики-ти. Негра за ногу схвати. Как заплачет – отпусти...* Господи, помоги мне.

Часть V

Тетушка Александра священнодействовала на кухне. Джин-Луиза кралась по коридору на цыпочках, надеясь, что ее не заметят, но ее заметили и окликнули:

– Ну-ка, взгляни.

Тетушка отступила от стола, и на нем обнаружили несколько хрустальных блюд, заполненных тоненькими сэндвичами в три этажа.

– Это что – Аттикусу на обед?

– Нет, он сказал, что постарается сегодня пообедать в городе. Ты же знаешь – твой отец не выносит, когда в доме собирается много дам.

О, Боже ты мой милостивый! Гости на кофе!

– Дитя мое, приберись немного в гостиной. Они придут через час.

– И кого же ты позвала?

Александра перечислила приглашенных, и список этот исторг из груди Джин-Луизы тяжкий вздох. Половина женщин была моложе ее, половина – старше; и ничего общего с ней не было ни у кого, кроме одной бывшей девочки, с которой они постоянно ссорились в младших классах.

– А где те, с кем я училась? – спросила она.

– Да здесь где-то, надо думать, неподалеку.

Ну да. Неподалеку. В Старом Сарэме и еще глубже в лесах. Интересно, что с ними случилось.

– Ты что – утром ездила в гости? – осведомилась тетушка.

– Проведала Кэлпурнию.

Александра уронила нож на стол:

– Джин-Луиза!

– Ну что за черт? Что *опять* не так?! – Помогите мне, Господи, на этот раз, и я клянусь никогда больше не связываться с тетушкой. По ее мнению, я ни разу в жизни не поступила правильно.

– Успокойтесь, мисс, – холодно проговорила Александра. – В Мейкомбе, Джин-Луиза, навещать негров больше не принято, потому что они ведут себя безобразно. Они всегда были ленивы, а в последнее время усвоили манеру взирать на тебя с откровенным презрением, и полагаться на них теперь – ну, с этим покончено... И спасибо за это надо сказать пресловутой Ассоциации – явились сюда, накачивают их лживыми идеями так, что отравы уже из ушей у них льется. И только благодаря тому, что у нас тут в округе крепкий шериф, не стряслось серьезной беды. А ты не

понимаешь, что происходит на самом деле. Мы были добры к этим людям, мы спокон века вытаскивали их из тюрьмы и из долгов, мы давали им работу, когда работы не было, мы побуждали их становиться лучше и чище – и они малость цивилизовались, но, дорогая моя, налет этот так тонок, что возомнившие о себе чернокожие янки способны за пять лет пустить под откос вековой прогресс... Нет и нет, после того как они нас так славно отблагодарили за все, что мы для них делали, никто в Мейкомбе не собирается больше им помогать. Ибо они тем лишь занимались, что кусали руку, кормившую их. Нет и нет, хватит с нас! Пусть теперь сами справляются и сами выпутываются.

Джин-Луиза спала двенадцать часов, и плечи у нее ломило от усталости.

– Сара, кухарка Мэри Уэбстер, давно уже член этой Ассоциации, как и все кухарки в городе. И когда Кэлпурния ушла от нас, я решила обойтись вообще без прислуги – мы ведь с Аттикусом вдвоем. В наши дни угодить черномазому не проще, чем устроить пир для короля...

Моя праведная тетушка разглагольствует наподобие мистера Грейди О'Хэнлона, который бросил работу, чтобы все свое время посвятить сохранению сегрегации.

– ...и приходится так перед ними выплясывать, что порой и не знаешь, кто же у кого в услужении... Так что овчинка выделки не... Ты куда?

– Прибраться в гостиной.

Она уселась в глубокое кресло и задумалась о том, как весь мир против нее сговорился. Моя тетка – человек, мне посторонний и, более того, враждебный, моя Кэлпурния знать меня не желает, Хэнк спятил, а Аттикус... может, дело во мне, может, это со мной неладно? Не могут же все вокруг разом преобразиться?

Да как же их самих не передергивает? Как могут они свято веровать в то, что говорят им в церкви, а потом произносить то, что произносят, и слышать то, что слышат, – и при этом их не выворачивает наизнанку? Я думала, я христианка, а оказывается – нет. Я – что-то другое, а что именно – не знаю. Все мои представления о добре и зле получены мною от этих людей – вот от этих самых людей. Значит, дело во мне, а не в них. Что-то произошло со мной.

И все они наперебой, ненормальным эхом твердят, что во всем виноваты негры... с тем же успехом сказали бы, что я умею летать. Видит Бог, умела бы – вылетела бы в окно сию же минуту.

– Я ведь просила, кажется, навести порядок. – Перед ней стояла тетушка.

Джин-Луиза встала и принялась наводить в гостиной порядок.

Мейкомбские *сороки* прибыли точно к сроку, в 10.30. Джин-Луиза встречала их на крыльце и чинно приветствовала каждую. Все в шляпках и в перчатках; волна духов, туалетной воды, цветочных эфирных масел и талька поднималась до поднебесья. Замысловатость их макияжа дала бы сто очков вперед даже древнеегипетским маскам, а наряды и в особенности туфли определенно были приобретены в Монтгомери или в Мобиле, и на Джин-Луизу изо всех углов гостиной смотрели товары из «А. Нахман», «Гейферз», «Левиз», «Хэммелз».

А о чем нынче говорят? Некогда от этих разговоров у Джин-Луизы уши вяли, а теперь приходилось держать их на макушке. Новобрачные самодовольно ворковали о своих Бобах и Майклах, о том, как четыре месяца назад вышли за своих Бобов и Майклов, а Бобы и Майклы уже прибавили по двадцать фунтов каждый. Джин-Луиза поборолла искушение растолковать юным гостям, по каким клиническим причинам, скорее всего, произошел столь быстрый привес, и обратила внимание туда, где толковали о плодах супружеской жизни, но толки эти вогнали ее в еще большую тоску.

Когда Джерри было два месяца, он посмотрел на меня и сказал... приучать к горшку следует уже... на крестинах он схватил мистера Скотта за волосы, и мистер Скотт... мочится в постель. Я ее отучила тогда же, когда и от привычки сосать палец... очарова-а-тельный, совершенно очаровательный свитерочек: там вышит красный слоненок, а на груди – «Кримсон Тайд»... и удалить зубик нам обошлось в пять долларов.

Бригада легкой кавалерии разместилась слева – дамы немного и сильно за тридцать, посвящавшие почти весь свой досуг дамскому клубу ффффффф, бриджу и стремлению обставить соперниц по части бытовой техники.

Джон сказал, что... Кэлвин сказал, что... почки, но Аллен практически отучил меня от жареного... после того, как у меня заела «молния», я зареклась... и я решительно не понимаю, с какой стати она подумала, что ей это сойдет с рук... бедняжка, на ее месте я бы... шоковая терапия, вот что ей прописали. Говорят, она... по субботам Лоренс Уэлк^[44] по телевизору – и он пляшет... я так смеялась, что, думала, умру! Он весь из себя в... ну да, мое подвенечное платье, и, представляешь, оно мне до сих пор как раз.

Справа от Джин-Луизы сидели три Присноуповающие. Эти мейкомбские барышни обладали безупречной репутацией и неизменно

пребывали в стадии «на выданье», причем никак не могли сделать следующий шаг. Их замужние сверстницы покровительствовали им, слегка сочувствовали и побуждали к охоте на каждое неприкаянное, некольцованное лицо мужского пола, приезжавшее в гости к общим знакомым. На одну из них Джин-Луиза посматривала с едким злорадством – лет в десять, предприняв единственную в жизни попытку прибиться к стае, она спросила у Сары Финли: «Можно мне зайти к тебе сегодня после обеда?» – и услышала: «Нет, лучше не надо. Мама говорит, ты слишком грубая».

Сейчас обе одиноки и, хоть и по совершенно разным причинам, как бы сравнялись, так?

Присноуповающие вполголоса щебетали между собой:

– ...какой-то был просто нескончаемый день... на задах банка... да, новый дом, у дороги... пятое и десятое, вот и получается, что в церкви будешь сидеть каждое воскресенье по четыре часа... сколько раз я говорила мистеру Фреду, что это не те помидоры... заживо сварись... так и сказала: не поставите кондиционер... и вот так прямо сдать. Это что еще за фокусы?

Джин-Луиза, улучив момент, вклинилась в разговор:

– Все еще работаешь в банке, Сара?

– Ну еще бы. До самой смерти там и останусь.

Гм.

– А как поживает Джейн... не помню фамилию? Вы с ней были не разлей вода. – Сара и Джейн Не-помню-фамилию в старших классах были закадычными подружками.

– А-а, Джейн. Она еще во время войны выскочила за такого довольно странного молодого человека и теперь ты бы ее не узнала.

– Да ну? Где она сейчас?

– В Мобиле. Во время войны съездила в Вашингтон и научилась там говорить на их гадкий манер. Получается у нее неважно, но никто не решается ей сказать, так что она все выпендривается. Помнишь, она ходила, закинув голову? Вот она и сейчас так ходит.

– Неужели?

– Ей-богу.

От тетушки, черт бы ее побрал, порой все же бывает польза, подумала Джин-Луиза, когда та подала ей знак. Джин-Луиза пошла на кухню и вернулась с подносом коктейльных салфеток. Пустила их по кругу – словно принялась нажимать клавиши огромного клавесина:

– ...я никогда в жизни... такая чудесная картина... со старым

мистером Хили... а они лежали на каминной доске прямо у меня под носом... да? часов одиннадцать, кажется... дело кончится разводом. В конце концов, он так себя с ней... все девять месяцев каждый час растирал мне спину... ты бы его видела... не поверишь – каждые пять минут писался в постель. Я это прекратила... всем в нашем классе, кроме той мерзкой девчонки из Старого Сарэма. Она-то не разбирается... все между строк, но ты *точно* знаешь, что он имел в виду.

Так. Теперь сэндвичи – и клавиши нажимаются в обратном порядке:

...Мистер Талберт взглянул на меня и сказал... ну никак не могла приучить его проситься на горшок.....бобов по четвергам вечером. Вот этому он научился у янки... Алой и Белой розы? Нет, дорогая, я говорю: мало ли, будут грозы... мусорщику. Я только это и смогла, когда она... по ржи. Ничего не могла с собой поделатать, будто впала в... Аминь! Когда все будет позади, с ума сойду от счастья... разве можно с ней так обращаться?.. горы, горы пеленок, а он еще спрашивает, с чего бы это мне так уставать? Он-то все-таки... в папка, с самого начала, вот она где была.

Тетушка ходила следом за ней и, подавая кофе, добивалась слаженности этого многоголосия, покуда оно не превратилось в однотонный гул. Джин-Луиза решила, что бригада легкой кавалерии подойдет ей больше, и, придвинув пуфик, переместилась к ним. Вычленила из стайки Хестер Синклер:

– Как Билл поживает?

– Спасибо, хорошо. Жить с ним с каждым днем все трудней. Какое ужасное происшествие с бедным мистером Хили, а?

– Да уж.

– Вы с этим парнем, кажется, знакомы?

– Да, он внук нашей Кэлпурнии.

– Боже мой, не понимаю, что с ними со всеми стало в последнее время. Его обвинят в убийстве, как думаешь?

– В непредумышленном, видимо.

– Да? – Хестер явно огорчилась. – Ну да, пожалуй, это правильно. Он же не нарочно?..

– Не нарочно.

– А я-то думала, мы наконец-то попереживаем... – засмеялась Хестер.

Волосы шевельнулись на голове Джин-Луизы. Где же мое чувство юмора? Потеряно безвозвратно, в том-то, наверно, и дело. Я становлюсь похожа на кузена Эдгара.

– ...уж лет десять не бывало хорошего процесса, – продолжала меж тем Хестер. – Ну, то есть, – хорошего процесса над черномазым. Ничего,

кроме пьяной поножовщины.

– Любишь ходить в суд?

– Еще бы. Весной был невероятный, просто дичайший бракоразводный процесс. Какая-то пара из Старого Сарэма. Судья Тейлор, наверно, в гробу переворачивался – ты же знаешь, он терпеть не мог, просил дам покинуть зал заседаний. А новому дела нет... В общем...

– Извини, Хестер. Принесу тебе еще кофе.

Тетушка Александра тащила тяжелый серебряный кофейник. Джин-Луиза смотрела, как она разливает кофе по чашкам. Капельки не прольет. Если мы с Хэнком... Хэнк.

Она оглядела длинную низкую гостиную, где в два ряда расположились гости – женщины, с которыми она всю жизнь просто была знакома и от которых через пять минут разговора ее охватывала смертная тоска. Я не могу придумать, что им сказать. Они мелют языками без передышки, рассказывая о том, что делают, а я не знаю, как все это делать. Если я выйду за него – или за любого городского, – они станут моими друзьями, а я не могу придумать, о чем с ними говорить. И меня будут звать Джин-Луиза-Молчунья. Сама бы я ни за что не стала устраивать такие развороты, а для тетушки это наслаждение неземное. Здесь меня бы ухайдакали до смерти молитвенными собраниями, партиями бриджа, посиделками в дамском клубе и все для того, чтобы я стала членом их общества. До звания достойной невесты мне очень далеко.

– ...конечно, это весьма печально, – говорила тетушка, – но такие уж они, и ничего с этим не поделаешь: горбатого могила исправит. Кэлпурния была лучше многих. А этот ее Зибо – настоящий дикарь, но, вообразите, она заставляла его жениться на каждой из тех, с кем он жил во грехе. Пять, кажется, их было, и Кэлпурния всякий раз тащила его под венец. Вот так они понимают христианскую доктрину.

– Не угадаешь, что у них в головах, – сказала Хестер. – Вот взять, к примеру, мою Софи. Говорю ей как-то: «Софи, – говорю, – скажи мне, Софи, на какой день придется Рождество в этом году?» А она подумала, поскребла в своих оческах и отвечает: «Сдается мне, мисс Хестер, в этом году – на двадцать пятый». Я думала, лопну со смеху. Я ведь спрашивала про день недели, а не число. Тупи-ица!

Юмор, юмор, юмор. Потеряла я свое чувство юмора. Стала скучней «Нью-Йорк Пост».

– ...и знаешь, что я тебе скажу? Они не понимают. А останавливать – значит, загонять болезнь внутрь. Билл говорит, что совершенно не удивится, если вспыхнет новое восстание Ната Тёрнера^[45]. Говорит, мы

сидим на пороховой бочке и должны, по крайней мере, быть готовы ко всему.

– Хм, Хестер, я, конечно, не очень разбираюсь, но мне кажется, в Монтгомери они, если и собираются, то лишь затем, чтобы помолиться в церкви, – сказала Джин-Луиза.

– Ах, милочка, да это они для отвода глаз! Эта уловка стара как мир! Кайзер Вильгельм тоже каждый вечер молился Богу.

В голове у Джин-Луизы назойливо вертелся глупый стишок. Откуда она его вычитала?

По воле Господа, дражайшая Августа,
Мы супостатов накрошили густо:
Десяток тысяч пал – бывало ль хуже?
И Бог благословил мое оружие^[46].

Интересно, где Хестер черпает сведения? Представить, как она читает что-либо, кроме «Успешного домоводства», невозможно – ну если только заточат в темницу. Значит, кто-то рассказал ей. И кто же?

– Увлеклась историей, Хестер?

– Что? Ах, да нет, ну что ты, я просто пересказываю, что от Билла услышала. Он говорит, черномазые, которые на Севере всем заправляют, пытаются применить тактику Ганди, а ты сама понимаешь, что это такое.

– Увы, не понимаю. Что это такое?

– Это коммунизм.

– Да? Я-то всегда считала, что коммунисты, наоборот, ратуют за насильственное свержение строя – в таком духе.

Хестер покачала головой:

– Ты витаешь в облаках, Джин-Луиза. Чтобы добиться своего, они на все идут. Хуже католиков. Ты же знаешь: те являются куда-нибудь и ради обращения местных сами дичают. Что ты! Они тебе такого наплетут! Чтобы обратить в христианство хоть одного черномазого, они самого апостола Павла в черномазого переокрасят. Билл говорит – а он же воевал как раз в тех местах, – что там не поймешь, где вуду, а где католичество, и он нисколько не удивился бы, увидав колдуна в сутане. И с коммунистами все обстоит точно так же. На все пойдут, на все решительно, лишь бы завладеть нашей страной. Они – везде, везде, и нипочем не угадаешь, кто коммунист, а кто нет. Даже здесь, в округе Мейкомб...

– Да ну, Хестер, что коммунисты забыли в округе Мейкомб? –

рассмеялась Джин-Луиза.

– Этого не знаю, зато знаю, что тут неподалеку, в Тускалусе, есть ячейка, и если б не эти парни, черномазая училась бы вместе с ними.

– Я чего-то потеряла нить, Хестер...

– Да ты что, не читала про этих полоумных профессоров, поднимающих такие вопросы в этой... как ее? В конвокации?

– Боже мой, я, наверно, читала не ту газету. В моей было сказано, что эта банда была с шинного завода...^[47]

– Может быть, твоя газета называлась «Дейли Уоркер»?^[48]

Ты очарована собой. Ты скажешь все, что взбредет в голову, но я не понимаю, что тебе туда взбредает. Мне хотелось бы отвинтить эту самую голову, вложить в нее факт и посмотреть, как он двинется по извилистым туннелям мозга, пока не выйдет изо рта. Мы с тобой обе родились здесь, мы ходили в одну школу, нас учили одному и тому же. Не понимаю, что ты-то видела и слышала.

– ...все знают, что Ассоциация спит и видит, как бы уничтожить наш Юг...

И в голову эту вбито недоверие и святая убежденность, что люди суть воплощенное зло.

– ...и они заявляют прямо и открыто, что желают покончить с черной расой, и Билл считает, они справятся через четыре поколения, если начнут с нынешнего...

Надеюсь, мир не заметит, а если и заметит, то вскоре забудет эти твои слова.

– ...а всякий, кто полагает иначе, либо явный, либо тайный коммунист. Пассивное сопротивление, да-да, конечно, держи карман...

Ну, разумеется, если по ходу истории одним людям становится необходимо разорвать политические узы, связывающие их с другими людьми, – они, разумеется, коммунисты.

– ...так и норовят жениться на тех, у кожа посветлее, чем у них, ратуют за порчу расы...

Джин-Луиза не выдержала:

– Хестер, вот скажи ты мне, пожалуйста. Я здесь с субботы, и только и слышу о порче расы, и слышу так часто, что поняла наконец: это, пожалуй, неудачная фраза, и мы, южане, должны исключить ее из лексикона. Чтобы испортить расу – если уж мы в таких терминах рассуждаем, – нужны две расы, и когда белые орут на всех углах о порче расы, это разве ничего нам не говорит о белых? Подоплека здесь, по-моему, такая: будь это законно,

все толпой ринулись бы жениться на неграх. Будь я ученым – а я не ученый, – сказала бы, что тут есть глубоко запрященный психологический подтекст, не очень лестный для того, кто произносит эти тексты. В лучшем случае, тут сквозит пугающее недоверие к собственной расе.

– Я совершенно не понимаю, о чем ты, – сказала Хестер.

– А я и сама не совсем понимаю, – ответила Джин-Луиза, – вот разве что волосы у меня на голове сами начинают курчавиться всякий раз, как я слышу подобные речи. Наверно, потому что когда меня растили и воспитывали, слышать такое мне не приходилось.

Хестер оцетинилась:

– Ты намекаешь на?..

– Извини меня, – сказала Джин-Луиза. – Я не о том. Извини, пожалуйста.

– Джин-Луиза, я же не про *нас* говорила.

– А про кого тогда?

– Я говорила... ну, знаешь, про этих... белую шваль. Тех, кто живет с негритьянками.

– Забавно, – улыбнулась Джин-Луиза. – Сто лет назад спать с цветными женщинами считалось в порядке вещей у джентльменов, а теперь – у подонков.

– Глупая, цветные же тогда были их собственностью. Нет, шваль – это те, на кого опирается Ассоциация. Добивается, чтобы черномазые смешивались с ними, чтобы так и шло, пока не исчезнет весь... как это говорится?.., пока не изменится социальный уклад.

Социальный уклад, вот оно как. Двойные обручальные кольца на покрывале Кэлпурнии. Не может быть, чтобы она ненавидела нас, и Аттикус не может верить в такие вещи. Простите, но это невозможно. Со вчерашнего дня меня будто законопачивают все глубже и глубже в...

– НУ, КАК ТАМ В НЬЮ-ЙОРКЕ?

Как в Нью-Йорке. В Нью-Йорке? Я расскажу вам, как в Нью-Йорке. У Нью-Йорка есть ответы на всё. Сходи в ИМКА, в Союз англофонов, в «Карнеги-холл», в Новую школу социальных исследований – и получишь ответ на любой вопрос. Город живет лозунгами, «измами» и ответами без запинки. И вот сейчас Нью-Йорк говорит мне: «Ты, Джин-Луиза Финч, реагируешь вопреки нашим доктринам в части, тебя касающейся, и потому тебя нет. Самые светлые головы страны сказали нам, кто ты. От этого не отвертись, и мы тебя за это не осуждаем, но убедительно просим действовать согласно правилам, которыми люди знающие определили твое

поведение, так что даже не старайся быть чем-то еще».

Поверьте мне, ответила она, у меня в семье случилось совсем не то, что вы думаете. Я могу сказать одно: все понятия о достойном поведении я усвоила дома. А от вас не научилась ничему, кроме подозрительности. Я не знала, что такое ненависть, пока не очутилась среди вас и не увидела вашу ненависть. Чтобы обуздать ее, пришлось даже принять особые законы. Я не выношу ваши мгновенные ответы, ваши лозунги в подzemке, а сильнее всего – то, что вы не умеете себя вести: не умеете и никогда не умели.

Человек, который не мог бы нагрубить даже бурундучку, сидел в зале суда, своим присутствием поддерживая дело, которое затеяли дурные, мелкие, пакостные людишки. Она много раз видела, как он стоял в бакалее в очереди за неграми. Мистер Фред вопросительно вздергивал брови, этот человек качал головой. Он инстинктивно ждал своей очереди; он был воспитанный человек.

Так что, сестрица, факты таковы: двадцать один год жизни ты провела в стране, где линчуют негров, в стороне, где две трети населения – чернокожие издольщики-аграрии. Так что кончай придуриваться.

Вы не поверите, но я все равно скажу: до сего дня я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то из моих близких произнес слово «черномазый». Я так и не выучилась мыслить в этих категориях. Я росла в окружении чернокожих: Кэлпурния, и мусорщик Зибо, и садовник Том, и многие-многие другие. Вокруг меня были сотни негров – они работали на полях, собирали хлопок, мостили дороги, пилили доски и из них строили нам дома. Они были бедны, они были неопрятны и недужны, порой среди них попадались лодыри и лежебоки, но ни разу в жизни не пришло мне в голову, что надо презирать их или опасаться, грубить им, обойтись с ними дурно – и мне это сойдет с рук. Эти люди существовали за пределами моего мира, а я – за пределами их мира, и на охоте я не забредала на их землю – не потому, что это земля чернокожих, а потому, что ни на чью землю забредать не полагалось. Меня с детства приучили не злоупотреблять своим преимуществом – будь то преимущество ума, богатства или социального положения – перед теми, кому в жизни повезло меньше, и относилось это решительно ко всем, не только к чернокожим. Мне втолковали, что вести себя иначе достойно презрения. Так воспитывали меня чернокожая женщина и белый мужчина.

Вероятно, ты так и жила. Если человек говорит: «Это правда», – и ты веришь, а потом обнаруживаешь, что это совсем даже не правда, ты, испытав тяжкое разочарование, твердо решаешь, что больше на его удочку не попадешься.

Но когда тебя подводит человек, всегда живший по правде – и ты сама в эту правду свято верила, – ты не просто учишься не доверять; ты остаешься ни с чем. Вероятно, поэтому я и схожу с ума...

– Нью-Йорк? Стоит покуда. – Джин-Луиза повернулась к той, кто так пытливо интересовался, – молодой женщине с мелкими чертами лица, мелкими острыми зубками во рту и в мелкой шляпке на голове. Звали ее Клодин Макдауэлл.

– Мы с Флетчером прошлой весной приезжали, вызванивали тебя день и ночь, да без толку.

Ну еще бы, с тебя станется.

– Понравилось? Нет, не отвечай, я сама скажу: вы превосходно провели время, но ты ни за что на свете не согласилась бы там жить.

Клодин приоткрыла улыбкой мышинные зубки:

– Точно! Как ты догадалась?

– Я телепат. Всё посмотрели?

– О да! Ходили в «Латинский квартал» и в «Копакабану», смотрели «Пижамную игру»^[49]. Первый раз видели бродвейское шоу – оно нас сильно разочаровало. Они все такие?

– Большею частью. А на верхушку сама-знаешь-чего залезали?

– Нет, но в «Радио-Сити»^[50] побывали. Вот там можно жить. Мы были на шоу в мюзик-холле, и, представляешь, Джин-Луиза, на сцену вышла настоящая лошадь.

Джин-Луиза сказала, что представляет.

– Мы с Флетчером так рады были вернуться домой. Я вот, ей-богу, в толк не возьму, как ты там живешь. За две недели в Нью-Йорке мы потратили больше, чем здесь за полгода. Флетчер говорил – не понимаю, зачем люди там селятся, если тут можно гораздо дешевле завести себе дом с садом.

А я тебе объясню, зачем. В Нью-Йорке ты сам себе хозяин. Захотел – пошел на Манхэттен и в милом сердцу одиночестве вкусил всех его прелестей, захотел – к черту пошел.

– Ну, как тебе сказать, – ответила она вслух. – Привыкать трудно и долго. Я ненавидела Нью-Йорк два года. Он вгонял меня в столбняк день за днем, пока однажды в автобусе кто-то не толкнул меня, а я не пихнула его в ответ. Пихнула – и поняла, что стала частью этого города.

– Да уж, что-что, а толкаться они большие мастера. Совершенно не умеют себя вести.

– Умеют, Клодин. Просто у них другие манеры. Дядька, который

толкнул меня в автобусе, ожидал, что я толкну его в ответ. Так полагалось – это просто игра такая. Нигде не найдешь людей лучше, чем в Нью-Йорке.

Клодин поджала губы:

– Ну, знаешь, мне бы не хотелось жить среди всех этих итальянцев и пуэрториканцев. В аптеке как-то раз я оглянулась – смотрю, какая-то негритянка сидит рядом со мной – просто бок о бок! – и жует свой обед! Я, разумеется, знала, что там это разрешается, но все равно меня прямо резануло...

– Она как-нибудь задела тебя словом или локтем?

– Да нет. Я сейчас же поднялась и ушла.

– Знаешь, – задумчиво сказала Джин-Луиза, – там, в Нью-Йорке, любому человеку свободно.

Клодин пожала плечами:

– Вот я и не понимаю, как ты с ними уживаешься.

– Тут дело в том, что ты их не замечаешь. Работаешь с ними бок о бок, ешь, едешь в автобусе, но ты их не замечаешь, пока сама не захочешь. Я не сознаю, что в автобусе рядом со мной сидит здоровенный толстый негр, пока мне не надо выходить. Просто не замечаешь.

– Ну, я-то очень даже замечала. А ты, наверно, слепая.

Верно, я слепая. Я жила с закрытыми глазами. Мне и в голову не приходило заглядывать человеку в душу – я смотрела только в лицо. Вчера в церкви сказали: «Пойди поставь сторожа». Ко мне тоже надо сторожа приставить. Сторожа и поводыря, чтобы водил меня и каждый час сообщал, что видит.

Чтобы говорил мне: это вот человек сказал словами, а это – имел в виду, чтобы провел черту посередине и показал – вот здесь эта справедливость, а вон там – та, а потом объяснил, в чем разница. Чтобы вышел и во всеуслышание объявил: нельзя двадцать шесть лет подряд человека разыгрывать, даже если выходит очень смешно.

– Тетя, – сказала Джин-Луиза, когда они убрали следы утреннего опустошения. – Если тебе не нужна машина, я бы, пожалуй, съездила к дяде Джеку.

– Мне нужно только поспать. А пообедать не хочешь?

– Нет, спасибо. Дядя Джек даст мне сэндвич какой-нибудь.

– Особо не рассчитывай. Он с каждым днем ест все меньше.

Она остановила машину на въезде, поднялась по крутым ступенькам крыльца, постучалась и вошла, распевая дурашливо:

Слишком много буги-вуги было в прежние года,
И теперь наш дядя Джеки ходит с костылем
всегда... [\[51\]](#)

Дом был невелик, но с огромным холлом. Некогда это был крытый переход между двумя флигелями, но потом доктор Финч замуровал его и поставил вдоль всех стен книжные шкафы.

– Я слышу тебя, невоспитанная девчонка! – донесся его голос откуда-то из глубины. – Я на кухне.

Джин-Луиза миновала холл, открыла дверь и оказалась там, где раньше была задняя открытая веранда. Ныне она слегка напоминала кабинет, как и почти все комнаты в этом доме. Джин-Луиза никогда еще не видела, чтобы оболочка так полно соответствовала содержимому. Военная опрятность и чистота, которую поддерживал в своем жилище дядюшка, уживались с чудовищным беспорядком, ибо стоило доктору Финчу присесть где-нибудь, как вокруг вырастали груды книг, а поскольку он имел обыкновение присаживаться, где заблагорассудится, эти книжные залежи копились в самых неожиданных местах, доводя до исступления приходящую прислугу. Дядюшка не позволял до них дотрагиваться, но при этом требовал идеальной чистоты, так что бедной женщине приходилось пылесосить, мыть и протирать вокруг них. Одна несчастная, вероятно, от таких требований потеряв голову, выдернула закладку из толстого тома Таквелловых «Воспоминаний об Оксфорде», а дядюшка, в свою очередь потеряв место, на котором остановился, едва не побил ее щеткой.

Дядюшка возник в дверях, и Джин-Луиза подумала, что моды приходят и моды уходят, а его – и Аттикусовы – жилеты пребудут вечно.

Мистер Финч был без пиджака, а на руках держал свою старую кошку Розу Эйлмер.

– Что, вчера опять в реке купалась? – Он пристально взглянул на нее. – Ну-ка, покажи язык.

Джин-Луиза высунула язык, и доктор Финч, поместив кошку на сгиб правого локтя, нашарил в кармане складные очки-половинки, расправил их и нацепил на нос.

– Ну, хватит-хватит, можешь уже спрятать, – сказал он. – Скверно выглядишь. Пойдем на кухню.

– Не знала, что у тебя такие очки, дядя Джек, – сказала Джин-Луиза.

– Ха. Я обнаружил, что бросаю деньги на ветер.

– Каким образом?

– Глядя поверх обычных. Эти-то вдвое дешевле.

Посреди кухни у доктора Финча стоял стол, посреди стола – блюдо, а посреди блюда помещался крекер с одинокой сардинкой.

– Это что – твой обед? – ахнула Джин-Луиза. – Дядюшка, а нельзя обойтись без чудачеств?

Доктор Финч подтащил к столу высокий табурет, водрузил на него кошку и ответил:

– Нет. Да.

Они сели за стол. Доктор Финч взял крекер с сардинкой и предложил его Розе Эйлмер. Та откусила, опустила голову и принялась жевать.

– Ест как человек, – сказала Джин-Луиза.

– Надеюсь, я сумел привить ей хорошие манеры, – сказал доктор Финч. – Она такая старая, что приходится кормить ее с руки.

– Почему ты ее не усыпишь?

– С какой же это стати? – вознегодовал доктор Финч. – У нее отменное здоровье, она протянет еще добрых лет десять.

Джин-Луиза молча согласилась, а себе пожелала в возрасте, сопоставимом с Розой Эйлмер, выглядеть так же хорошо. Рыжая шубка была в великолепном состоянии, стать сохранилась, и глаза не потускнели. Сейчас, правда, кошка почти все время спала, и раз в день доктор Финч выгуливал ее на поводке по заднему двору.

Дядя Джек терпеливо уговаривал кошку завершить трапезу, а когда его усилия увенчались успехом, из шкафчика над раковиной достал бутылку с пипеткой на горлышке. Набрал изрядно содержимого в пипетку, пригнул кошке голову и велел открыть рот. Роза повиновалась. Глотнула и затрясла головой.

– Теперь ты, – сказал доктор Финч племяннице. – Открывай рот.

Джин-Луиза глотнула и фыркнула.

– Что это за гадость такая?

– Витамин С. И вообще тебе надо показаться Аллену.

Джин-Луиза пообещала непременно так и сделать и спросила дядюшку, чем он нынче занят.

– Сибторпом, – отвечивал доктор Финч, склонившись над духовкой.

– Чем-чем?

Доктор Финч вытащил из духовки деревянную салатную миску, к изумлению Джин-Луизы, наполненную овощами. Надеюсь, подумала она, плита не была включена.

– Не чем, а кем. Сибторпом, деточка, Сибторпом, – сказал он. – Ричард Уолдо Сибторп был священником Римской католической церкви. Но при этом погребли его по обряду церкви англиканской и по высшему разряду. Пытаюсь найти кого-нибудь подобного. Чрезвычайно значительная личность.

Джин-Луиза была привычна к дядюшкиной манере интеллектуальной скорописи – он упоминал два отдельных факта и делал вывод, неизвестно из чего, на первый взгляд, следовавший. А потом, если правильно подойти к делу, он медленно и верно разматывал катушку своих глубоких познаний и предъявлял цепь рассуждений, блиставшую его особым личным светом.

Но Джин-Луизе было сейчас не до умствований поздневикторианского эстета – ее занимало другое. И она смотрела, как дядюшка так же точно и уверенно, как когда-то делал остеотомию, перемешивает овощи, сдобренные оливковым маслом, уксусом и еще какими-то неведомыми ей специями. Затем он разложил салат на две тарелки и сказал:

– Кушай, деточка.

Доктор Финч, яростно работая челюстями, поглощал свой обед и поглядывал на племянницу, а та раскладывала латук, кусочки авокадо, зеленого перца и колечки лука рядом на тарелке.

– Да что с тобой такое? Ты беременна?

– Слава Богу, нет.

– Я-то полагал – это единственное, что в наши дни может беспокоить молодых женщин. Не хочешь рассказать, в чем дело? – Голос его потеплел. – Ну давай, выкладывай.

У нее на глаза навернулись слезы.

– Что тут у вас произошло, дядя Джек? Что с Аттикусом *такое*? По-моему, и тетушка, и Хэнк спятили, да и я уже близка.

– Я ничего не заметил. А должен был?

– Ты бы видел их вчера на собрании...

Джин-Луиза взглянула на дядюшку – тот опасно качался на задних ножках стула. Придержался за столешницу, острое лицо слегка расплылось, брови полезли вверх, и доктор Финч громко расхохотался. Ножки стула грохнули об пол, и хохот сменился похохатыванием.

Джин-Луиза в ярости вскочила, уронила стул, затем подняла и направилась к двери:

– Я не за тем сюда пришла, чтоб надо мной насмехались, дядя Джек.

– Сядь, – ответил тот. – Садись и помолчи.

Доктор Финч воззрился на племянницу с неподдельным интересом, будто она препарат под микроскопом или некий клинический феномен, возникший из ниоткуда у него на кухне.

– Вчера бы помер и не знал, что Господь всемогущий еще в этой жизни приведет увидеть, как некто погружается в самую глубь революции и с кислейшей миной осведомляется: «Что происходит?» – Он опять рассмеялся, тряся головой. – Ты спрашиваешь, что происходит, деточка? Готов объяснить, если ты возьмешь себя в руки и перестанешь вести себя так. Мнится мне, твои глаза и уши мало что различают и с мозгом контактируют лишь конвульсивно, – Его лицо обрело прежнюю резкость очертаний. – Но тебе не все понравится.

– Это неважно. Объясни только, отчего мой отец превратился в расиста.

– Выбирай выражения, – сухо и неприязненно сказал доктор Финч. – Не смей так называть отца. Это слово омерзительно мне и смыслом, и звучанием.

– А как еще прикажешь его называть?

Протяжно вздохнув, дядя Джек подошел к плите и зажег горелку под кофейником:

– Давай-ка рассудим спокойно.

Он обернулся к Джин-Луизе, и та заметила, что негодование в его глазах сменилось изумлением, а то – чем-то другим, неопределимым. И услышала, как он бормочет: «О, Боже, о Боже, конечно же... В романе должен быть сюжет».

– Ты о чем? – спросила она, понимая, что он цитирует откуда-то, но откуда и зачем, не знала и знать не хотела. Дядюшка по своему желанию умел ее взбесить и, кажется, собирался приступить к этому немедленно.

– Да так, ни о чем. – Он присел к столу, снял очки и спрятал их в карман жилета. Потом заговорил неторопливо и с расстановкой: – Деточка. Твой отец и такие, как он, ведут по всему нашему Югу то, что называется «арьергардные бои», отстаивая некую философию, которая ныне почти

иссякла...

– Если эту философию излагали вчера в суде, могу только порадоваться.

Доктор Финч поднял глаза:

– Ты сильно ошибаешься, если полагаешь, что твой отец занят тем, чтобы поставить негров на место.

Джин-Луиза одновременно подняла руки и голос:

– А что еще мне полагать?.. И мне дурно, дядя Джек! Физически дурно!

Доктор Финч почесал за ухом:

– Я думаю, тебе в свое время приходилось, пусть и мимолетно, знакомиться кое с какими историческими фактами...

– Дядя Джек, ради Бога, не заводи со мной сейчас таких разговоров – война тут ни при чем...

– Напротив. Очень даже при чем, если, конечно, ты хочешь постичь, что происходит. И прежде всего пойми кое-что такое – а это, видит Бог, кое-что, – чего никак не могут уразуметь три четверти нации. Кем были мы, Джин-Луиза? Кто мы теперь? К чему, к кому на этом свете мы ближе всего?

– Я думала, мы просто люди. А вообще – не знаю.

Доктор Финч улыбнулся, и в глазах его блеснула дьявольская искорка. Ну все, подумала она, сейчас его понесет так, что и не остановишь, и назад не вернешь.

– Возьми, к примеру, округ Мейкомб, – сказал он. – Типичный Юг. Неужели тебя никогда не поражало, что здесь почти все либо в родстве, либо почти в родстве со всеми прочими?

– Дядя Джек, как можно быть с кем-то почти в родстве?

– Да запросто. Ты ведь помнишь Фрэнка Бакленда?

Вопреки своей воле Джин-Луиза медленно, но неуклонно запутывалась в дядюшкиной паутине. От того, что этот старый паук великолепен, он не перестает быть пауком.

– Фрэнка Бакленда? – переспросила она, подавшись вперед.

– Натуралист. Носил в портфеле дохлую рыбу и держал дома шакала.

– И что же?

– И про Мэттью Арнольда, наверно, приходилось слышать?

Она кивнула.

– Ну так вот, Фрэнк Бакленд был сыном брата мужа сестры отца Мэттью Арнольда. А посему они почти родственники. Понятно?

– Да, сэр, но...

Доктор Финч поглядел на потолок:

– А разве мой племянник Джим, – медленно проговорил он, – не был обручен с троюродной сестрой жены сына собственного двоюродного деда?

Она закрыла лицо руками, напряженно вдумалась и сказала наконец:

– Был. Дядя Джек, мне кажется, ты допустил *non sequitur*^[52], но я не уверена.

– Да ведь это то же самое!

– Не улавливаю связи.

Доктор Финч положил руки на стол:

– Это потому что ты не смотришь. Живешь с закрытыми глазами.

Джин-Луиза подскочила на стуле.

– В округе Мейкомб, к твоему сведению, имеются копии всех тупоголовых кельтов, англов и саксов, какие только жили на свете. Ты ведь помнишь декана Стэнли?

Вот они, нескончаемые часы прежних дней, они возвращаются к ней. Она вновь в этом доме, сидит в тепле перед камином, а ей читают какую-то заплесневелую книгу. Она слышит низко рокочущий голос, неожиданно срывающийся на неодолимый визгливый смех. В памяти всплыли рассеянный, растрепанный священник и его коренастая жена.

– Он не напоминает тебе Финка Сьюэлла?

– Нет.

– Подумай, девочка. Подумай. Ну хорошо, раз ты не хочешь думать, я дам тебе зацепку. Стэнли в бытность свою настоятелем Вестминстера перекопал чуть ли не все аббатство, отыскивая Якова Первого.

– О Боже мой.

Во времена Великой депрессии мистер Финкни Сьюэлл, известный в Мейкомбе независимостью суждений и воззрений, выкопал из могилы родного дедушку и выдрал у него все золотые зубы, чтобы уплатить по закладной. Когда шериф притянул его к ответу за разграбление могил и незаконный оборот золота, мистер Финк отбрехивался тем, что если родной дедушка принадлежит не ему, то кому же он принадлежит? Шериф ответил на это, что покойный М.Ф. Сьюэлл является общественным достоянием, но в ответ внук огрызнулся, что участок кладбища принадлежит ему вместе со всем содержимым, а именно – покоящимся там его собственным дедушкой и его зубами, и потому он решительно протестует против ареста. Общественное мнение Мейкомба поднялось на его защиту, сочтя, что мистер Финк ведет себя в высшей степени достойно, ибо старается как может платить свои долги, – и правосудие оставило его в покое.

– Стэнли, хоть и руководствовался в своих раскопках историческими

мотивами, – нараспев произнес доктор Финч, – рассуждал в точности так же. Ты же не будешь отрицать, что он притаскивал каждого еретика, до которого мог дотянуться, проповедовать в Вестминстере. И, если не ошибаюсь, причастил однажды миссис Энни Бесант. А помнишь, как он поддерживал епископа Коленсо?

Джин-Луиза помнила. Епископ Коленсо, чьи воззрения на все вопросы в те времена считались зловредными, а ныне дремуче старомодны, был для настоятеля чем-то вроде домашнего баловня. Он служил темой ожесточенно-язвительных споров всюду, где собирались священнослужители, меж тем как настоятель произнес однажды громозвучную речь в его защиту, осведомляясь, известно ли высокому собранию, что Коленсо – единственный глава колониальной епархии, который взвалил на себя бремя перевода Библии на зулусский язык, и одно это сильно перевешивает сделанное всеми остальными, вместе взятыми.

– Так что Финк был вроде него. В самый разгар Депрессии подписался на «Уолл-стрит джорнал» и плевать хотел на то, что скажут люди. – Доктор Финч усмехнулся. – У почтмейстера Джейка Джеддо чуть ли не конвульсии начинались всякий раз, как он выдавал ему бандероль.

Джин-Луиза смотрела на дядюшку. Она сидела у него на кухне, в середине Атомного Века и где-то в самой что ни на есть глубине сознания признавала, что в своих сравнениях доктор Финч возмутительно прав.

– ...вроде него, – говорил меж тем доктор Финч, – или, например, Гарриэт Мартино...^[53]

Джин-Луиза словно погружалась под воду где-то в Озерном Краю и барахталась, чтобы не утонуть.

– А миссис Э. С. Б. Франклин ты помнишь?

Эту она помнила. До великой экономистки ей пришлось бы долгие годы брести ощупью, но с миссис Франклин все несравненно проще: Джин-Луиза помнила вязаный шотландский берет, вязаное платье, сквозь которое просвечивали розовым вязаные панталоны и вязаные же чулки. По субботам миссис Франклин ходила за три мили в город со своей фермы, именовавшейся «Мыс Жасминовый Куст». Миссис Франклин сочиняла стихи.

– А второстепенных романтических поэтесс? – спросил дядюшка.

– Конечно.

– Ну и?

В детстве ей случалось томиться в редакции «Мейкомб трибюн» и присутствовать при нескольких – в том числе и последней – перебранках миссис Франклин с мистером Андервудом. Тот был метранпаж старого

закала и терпеть не мог бессмыслицы. Работал целый день за громоздким черным линотипом, время от времени подкрепляя силы безобидным вишневым вином из галлонного кувшина. Как-то в субботу Андервуд отказался набирать излияния миссис Франклин, заявив, что не опозорит страницы «Трибюн» стихотворным некрологом корове, начинавшимся так:

Ушла ты ныне на тот свет,
И карих глаз твоих больших померк навеки свет...

и содержащим серьезные погрешности против христианской доктрины. «Коровы не попадают на небеса», – заявил мистер Андервуд, на что миссис Франклин отвечала: «Эта – попадет», – и разъяснила ему концепцию поэтической вольности. Мистер Андервуд, которому постоянно приходилось печатать разнообразнейшие стихи в память усопших, заявил, что эти он набирать не станет, поскольку они богохульны, во-первых, а во-вторых, в них не выдержан размер. В ярости миссис Франклин открыла раму и рассыпала по всей конторе объявление о распродаже в магазине Биггса. Мистер Андервуд набрал воздуха в грудь, как кит, сделал невероятный глоток вишневого вина и с проклятиями гнался за миссис Франклин до самой площади. После этого поэтесса сочиняла стихи себе самой в назидание. Округ по ней скучал.

– И ты готова согласиться, что прослеживается некая непрочная связь... нет, необязательно между двумя сумасбродами, но между... э-э-э... образами мыслей, существующими в определенных кругах по ту сторону океана?

Джин-Луиза выбросила на ринг полотенце.

Доктор Финч сказал, обращаясь больше к себе, чем к племяннице:

– Откуда приходили к нам добела раскаленные слова в 1770-х?

– Из Виргинии, – не замаявшись, отвечала она.

– А почему в 1940-е, пока мы не влезли в войну, каждый южанин с особым ужасом читал газету и слушал радио? В основе всего, дитя мое, племенное родство. Да, британцы – сукины дети, но это наши сукины дети... – Доктор Финч осекся. – Вернемся назад, – бодро сказал он. – Вернемся в Англию 1800-х годов, в ту эпоху, когда некий извращенец еще не успел выдумать машины. Какова была тогдашняя жизнь?

– Общество герцогов и нищих, – машинально ответила Джин-Луиза.

– Ха! Если ты помнишь Каролину Лэм,^[54] ты, оказывается, не вполне безнадежна. Да, ты почти попала в точку, но не вполне: это было аграрное

общество с горсточкой землевладельцев и бесчисленным множеством арендаторов. Так, а чем был наш Юг перед войной?

– Аграрным обществом с горсточкой крупных землевладельцев и бесчисленным множеством «фермеров от земли», а также рабов.

– Правильно! Что же остается за вычетом рабов? Десятки Уэйдов Хэмптонов^[55] и тысячи мелких фермеров и арендаторов. Наш Юг по социальной структуре и верности традициям был маленькой Англией. А теперь скажи, что заставляет чаще биться сердце каждого англосакса – не вздрагивай, я знаю, что в наши дни это почти бранное слово, – да, любого англосакса, независимо от того, кто он и какое положение занимает, образован он или полуграмотен.

– Ну, он горд... Довольно упрям.

– Правильно. Что еще?

– Не знаю...

– Что сделало малочисленную оборванную армию конфедератов боеспособной? Что подрывало ее силы, но придавало мощи и позволяло творить чудеса? Почему она была последней в своем роде?

– Э-э... Роберт Ли?

– Боже милостивый, дитя мое! – вскричал дядюшка. – Это была армия индивидуалистов! Они вышли со своих ферм и пошли на войну.

Доктор Финч, словно собираясь изучить некую диковину, извлек очки, оседлал ими переносицу и, откинув голову, поглядел на племянницу.

– Ни одна машина, – сказал он, – если разбить ее вдребезги, в порошок стереть, не сумеет сама собрать себя воедино и снова заработать, а эти живые мертвецы поднимались и шли. И как шли! Почему?

– Ну, наверно, из-за рабов, и пошлин, и прочего... Я об этом никогда особо не задумывалась.

– Боже милосердный! – тихо сказал доктор Финч.

Явно стараясь обуздать свой гнев, он встал, подошел к плите и выключил кофейник. Наполнил две чашки обжигающим черным варевом и поставил на стол. Потом заметил сухо:

– Джин-Луиза. Не более пяти процентов южан когда-либо вообще видели невольника, еще меньше владели хоть одним. Стало быть, что-то другое должно было всерьез раззадорить остальные девяносто пять процентов.

Она растерянно смотрела на него.

– Тебе никогда не приходило в голову – или, не знаю, не в голову., чем там можно уловить некие колебания воздуха?.. – что эти земли – отдельная страна? Каковы бы ни были ее политические устремления, это отдельная

страна со своим народом, внутри другой страны. Парадоксально устроенное общество, со страшным неравенством, но с обостренным чувством чести у тысяч людей, мерцающих, как светлячки во тьме. Не припомню иной войны, что затевалась по такому множеству причин, слившихся в единую, кристально ясную причину. Они воевали за сохранение самих себя. И в политическом смысле, и в личном. – Голос его смягчился. – Конечно, в век реактивной авиации и передозировок нембутала это донкихотство – пойти воевать ради такой безделки, как свое самостояние.

Он поморгал и добавил:

– Да, Глазастик, до тех пор, пока эти оборванные невежественные люди не были фактически истреблены, они воевали за то, что сейчас, похоже, стало исключительной привилегией художников и музыкантов.

Джин-Луиза в отчаянном порыве метнулась прямо под колеса дядюшкиной логике:

– Но ведь все это было... э-э... почти сто лет назад.

Доктор Финч ухмыльнулся:

– Да что ты говоришь? Ну, это еще как посмотреть. Если бы ты сидела за столиком уличного кафе в Париже – тогда конечно. Но приглядишься повнимательней. У выживших на той войне родились дети – боже-боже, как они плодились и размножались! – и Юг прошел через Реконструкцию^[56] с одним лишь значительным политическим изменением – исчезло рабство. И люди не сделались меньше – наоборот, в иных случаях они ужасающим образом подросли. Их так и не уничтожили. Их втоптали в грязь, но они поднялись. Возникла Табачная дорога^[57], образовалось самое уродливое, самое постыдное последствие всего этого – племя белых людей, живших в открытом экономическом соперничестве с освобожденными неграми... Долгие-долгие годы белый считал, что над чернокожими братьями его возвышает лишь белая кожа. Он был так же грязен и неимуц, он так же смердел. В наши дни он обрел больше, чем у него было когда-либо, у него есть теперь все, кроме родового чувства, он стер все пятна своего бесчестья, освободился от прошлого и все же сидит и лелеет пережиток своей ненависти...

Доктор Финч поднялся и налил еще кофе. Джин-Луиза наблюдала за ним и думала: «О Господи, ведь на этой войне сражался мой родной дед. Отец Аттикуса и Джека. Он был совсем еще ребенок. Видел, как реки крови текли по склону Шилохского холма...»

– Теперь же, Глазастик, – продолжал доктор Финч, – теперь, вот в эту

самую минуту Югу навязывается чужая и чуждая политическая философия, а Юг к ней не готов – и мы снова в беде. История повторяется так же неуклонно, как течет время, но человек так устроен, что уроки станет извлекать откуда угодно, только не из истории. Я молю Бога, чтобы нынешняя Реконструкция прошла относительно бескровно.

– Я не понимаю, дядя...

– Посмотри на остальные штаты. Образом мыслей они далеко ушли от Юга. Освященное временем и общим правом понятие собственности – интерес к ней человека и его обязательства по отношению к ней – практически испарилось. Отношение людей к обязанностям власти изменилось. Неимущие подняли голову, потребовали и получили то, что им причитается, – иногда и больше, чем причиталось. Аппетиты имущих урезали. Ты огражден от ледяных ветров старости и, заметь, не по доброй воле – тебя защитило правительство, которое заявляет, что не доверяет тебе и потому заставит тебя откладывать на черный день. И бесчисленные разновидности такой вот причудливой чепухи расплодились в этой стране. Америка – дивный новый атомный мир, а на Юге только начинается промышленная революция. Ты не смотрела по сторонам в последние лет семь-восемь, не видела тут у нас новый класс людей?

– Какой еще новый класс?

– Да что с тобой?! Оглянись! Где арендаторы? На заводах. Где сельскохозяйственные рабочие? Там же. Ты не заметила, кто живет теперь в белых домиках на том конце Мейкомба? Новый класс. Те, с кем ты ходила в школу, – мальчики и девочки с крохотных ферм. Твое поколение. – Он подергал себя за нос. – Этих людей федеральное правительство бережет как зеницу ока. Дает им ссуды на постройку домов, предоставляет бесплатное обучение за службу в армии и пенсии, а в случае потери работы обеспечивает на несколько недель пособием.

– Дядя Джек, ты просто старый циник.

– Да какой, к черту, циник?! Я – старик, да, но из ума пока не выжил и органически не доверяю патернализму и государству в больших дозах. И твой отец, кстати, придерживается того же...

– Если ты сейчас скажешь, что всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, я плесну в тебя кофе.

– Я одного опасюсь – что правительство в этой стране когда-нибудь обретет такую чудовищную мощь, что маленький человек будет просто растоптан, и жить здесь станет незачем. Лишь одно отличает нашу Америку от прочего утомленного мира: здесь человек захочет – может прийти, докуда его доведут мозги, а захочет – может и к черту пойти, причем

первый путь будет не намного длинней.

Доктор Финч ухмыльнулся на манер дружелюбного хорька:

– Мельбурн заметил однажды, что у правительства – всего две задачи: предотвращать преступления и обеспечивать выполнение договорных обязательств. А я бы, раз уж поневоле оказался в двадцатом веке, добавил еще третью – обеспечивать обществу защиту.

– Очень туманное заявление.

– Весьма. Дает слишком много свободы.

Джин-Луиза локти поставила на стол, а пальцы запустила в волосы. С дядюшкой явно что-то не то. Он намеренно блещет тут перед ней красноречием и столь же намеренно уходит от темы. То чрезмерно упрощает, то увиливает, то уклоняется, то ускользает. Неясно, зачем он это делает. Заслушавшись, убаюканная этим плавным потоком слов, она, хоть и не упустила из виду, что доктор Финч позабыл про каскады своих излюбленных хмыканий и смешков, которыми обычно так обильно уснащал свои речи, но не придала этому значения. И не почувствовала, как сильно он удручен.

– Дядя Джек, – сказала она. – При чем тут это все? Где имение, а где наводнение? И ты отлично понимаешь, о чем я говорю.

– Хо, – сказал он, и щеки его порозовели. – Начинаешь соображать, а?

– Уже сообразила, что таких скверных отношений между неграми и белыми я еще в жизни своей не видывала. Ты, кстати, о них ни разу даже не упомянул. Сообразила, что хорошо бы понять, отчего твоя праведная сестрица так себя ведет. Сообразила также, что желаю знать, что произошло с моим отцом.

Доктор Финч оперся подбородком на сплетенные пальцы.

– Рождение человека – очень, знаешь ли, неприятное дело. Неопрятное, чрезвычайно болезненное, иногда – рискованное. Всегда – кровавое. Вот и цивилизация так же. Юг корчится в последних родовых схватках. На свет вот-вот появится нечто новое, и не уверен, что мне оно придется по вкусу, но, по счастью, меня здесь, вероятнее всего, уже не будет. А ты – будешь. Такие люди, как мы с Аттикусом, выходят из употребления, вымирают, и жаль только, что они уносят с собой очень существенные понятия, бытовавшие в этом обществе, где, согласись, было и немало хорошего.

– Дядя, перестань разводить турусы на колесах. Ответь мне!

Доктор Финч поднялся, перегнулся через стол, вглядываясь в племянницу. Носогубные складки и рот резко обозначили неприязненную трапецию. Глаза запылали, но голос был тих:

– Джин-Луиза, когда на человека наводят двустволку, он хватается за все, что под руку подвернется, – камень, палку, совет граждан.

– Это не ответ.

Доктор Финч зажмурился, потом открыл глаза и вперил взгляд в стол.

– Ты, дядя Джек, сегодня с удивительным искусством ходишь вокруг да около, а раньше за тобой ничего подобного не замечалось. Раньше, о чем бы я тебя ни спрашивала, ты отвечал мне прямо. Почему сейчас не хочешь?

– Не могу. Не в моей власти и не в моей компетенции.

– Сроду не слышала от тебя такого.

Доктор Финч открыл и сейчас же захлопнул рот. Взял племянницу за руку, повел в соседнюю комнату и поставил перед зеркалом в позолоченной раме.

– Посмотри на себя.

Она повиновалась.

– Что ты видишь?

– Себя. И тебя. – И вдобавок сообщила дядюшкиному отражению: – Знаешь, дядя Джек, ты хорош собой неким ужасным манером.

В зеркале она увидела, как на миг накатила на него последняя сотня лет. Он не то поклонился, не то кивнул, сказал:

– Спасибо на добром слове, мэм, – и, стоя позади, взял ее за плечи. – Гляди на себя. Больше ничего тебе не скажу. Гляди на свои глаза. На нос. На подбородок. Что видишь?

– Себя.

– А я – двоих.

– В смысле – женщину и девчонку-сорванца?

Дядюшкино отражение покачало головой.

– Нет, дитя мое. Это все на месте, не отнять, но речь не о том.

– Дядя, милый, я не понимаю, зачем ты наводишь туман...

Доктор Финч поскреб голову, и гребень седых волос встал дыбом.

– Виноват, – сказал он. – В добрый час. Иди и делай, что собиралась. Я не могу тебя остановить и я не должен тебя останавливать, Чайльд-Роланд^[58]. Но это грязное дело, опасное. Такое кровавое дело...

– Дядя Джек, миленький, ты не с нами.

Доктор Финч отодвинул ее, придержал, взглянул в лицо:

– Джин-Луиза, выслушай меня внимательно. К тому, о чем мы говорили сегодня, я хочу добавить еще кое-что – и посмотрим, соберешь ли ты картинку воедино. Значит, так: то, что было второстепенным во время Войны между Штатами, осталось таковым и на той войне, которую мы ведем сейчас, и на твоей персональной войне. Вот теперь по здоровом

размышлении скажи, что, по-твоему, это значит.

Он выждал немного.

– У тебя получилось в духе кого-то из «малых пророков»^[59], – сказала она.

– Я так и думал. Ладно, слушай дальше: когда тебе станет невыносимо, когда сердце будет рваться надвое, ты придешь ко мне. Поняла? Ты должна прийти. Обещай мне. – Он потряс ее за плечи. – Обещай.

– Да-да, я обещаю, но...

– Теперь выметайся, – сказал дядюшка. – Отправляйся куда-нибудь, поиграй с Хэнком в «почту». А у меня найдутся дела поинтересней, чем с тобой тут...

– Что, например?

– Тебя не касается. Кыш отсюда, негодная девчонка!

Джин-Луиза спускалась с крыльца и не видела, как доктор Финч, закусив губу, прошел в кухню и потербил рыжую шубку Розы Эйлмер, как, сунув руки в карманы, он удалился к себе в кабинет и медленно походил там из угла в угол, а потом снял телефонную трубку.

Часть VI

Он безумен, безумен, безумен, как шляпник. Что же, такое водится за всеми Финчами. Вся разница между прочими и дядей Джеком в том, что он-то о своем безумии знает.

Она сидела за столиком на задах кафе мистера Канингема и ела мороженое из провощенного бумажного ведерка. Мистер Канингем, как человек чести, выдал ей большую порцию бесплатно в награду за то, что вчера отгадала его фамилию, и Джин-Луиза еще и поэтому любила Мейкомб – здешние люди помнили свои обещания.

Что нес дядюшка? *Обещай мне... второстепенное... англосаксы... бранное слово...* Чайльд-Роланд. Надеюсь, он хотя бы не утратит представления о приличиях, иначе его запрут в психушке. Он так безмерно далек от нашего века, что даже не может сходить в нужник – он ходит в ватерклозет. Однако сумасшедший он или нормальный, дядюшка – единственный из них всех, кто не сделал и не сказал такого, что...

Зачем я снова пришла сюда? Чтоб хуже было, видимо. Посмотреть на задний двор, где когда-то росли деревья, где стоял гараж, и задуматься – не приснилось ли мне все это? Вон там Джим парковал автомобильчик, на котором ездил ловить рыбу, а там, у забора, мы копали червей, а вон там я посадила бамбук, и мы потом выпалывали его двадцать лет. Мистер Канингем, должно быть, засолил почву, где он рос, потому что бамбука я больше не вижу.

Сидя на послеполуденном солнце, она заново выстроила свой дом, населила двор отцом и братом и Кэлпурнией, в дом через дорогу поместила Генри, а мисс Рейчел – по соседству.

До конца учебного года оставалось тогда две недели, и она впервые пришла на танцы. На этот бал, предшествовавший выпускному вечеру и приходившийся неизменно на последнюю пятницу мая, старшеклассники по традиции приводили младших братьев и сестер.

Джим был капитаном команды Мейкомба, впервые за тринадцать сезонов победившей Эбботсвилль, и его футбольный свитер обретал все большее великолепие. Генри был президентом Дискуссионного клуба старшеклассников – это единственное, на что у него хватало времени после уроков, – а она была глупой девчонкой четырнадцати лет, запоем читавшей викторианскую поэзию и детективные романы.

В те дни модно было ухаживать за девушками с того берега, и Джим

был так отчаянно влюблен в сверстницу из округа Эббот, что всерьез намеревался последний школьный год отучиться там, однако в намерении своем не преуспел благодаря Аттикусу, который решительно воспротивился, а в утешение выделил Джиму денежные средства, достаточные для приобретения «Модели-А»-купе. Джим выкрасил машину в сверкающе-черный цвет, собственными руками добился, чтобы покрышки с белым ободом выглядели как заводские, неустанно полировал свое транспортное средство и каждую пятницу отправлялся на нем в Эбботсвилль, сохраняя невозмутимое достоинство, которому не мешало то обстоятельство, что машина грохотала, как исполинская кофемолка, а при появлении своем неизменно привлекала многочисленные стаи собак.

Джин-Луиза не сомневалась, что Джим и Генри составили комплот с тем, чтобы заманить ее на бал, но отнеслась к этому снисходительно. Поначалу она вообще решила, что ей там делать нечего, но Аттикус сказал, что будет странно, если все приведут своих сестер, а Джим нет, и что ей наверняка понравится, и пусть она выберет себе у Гинзберга любое платье себе по вкусу.

Она отыскала там истинное чудо. Белое, с буфиками на плечах, с юбкой-колоколом, раздувавшейся, когда она кружилась. Одно только было плохо – в нем она выглядела натуральной кеглей.

Она проконсультировалась с Кэлпурнией, которая сказала, что тут уж ничего не попишешь, кому что Бог дал, тот с тем и живет, и у всех девочек в четырнадцать годков дело обстоит примерно так.

– У меня – хуже, – сказала она, подтягивая линию выреза повыше.

– Ты всегда так выглядишь, – отвечала Кэлпурния. – Ну, то есть ты, что ни надень, одна и та же. Разницы нет.

Джин-Луиза страдала три дня. Накануне бала вернулась в магазин Гинзберга, купила накладной бюст и дома примерила.

– Погляди, Кэлпурния, – сказала она.

– Ну, теперь, конечно, лучше, но все же, может, постепенно бы надо?

– Как постепенно?

– Поносить надо было, обвыкнуть, а теперь уж слишком поздно, – буркнула Кэлпурния.

– Глупости какие!

– Ну ладно, будь по-твоему. Давай сюда – пришью.

Когда Джин-Луиза надела платье, внезапная мысль повергла ее в столбняк.

– О Боже... – прошептала она.

– Ну что еще? – спросила Кэлпурния. – Ты битую неделю носишься с

этим балом. Что ты забыла?

– Кэл, я, по-моему, танцевать не умею.

Кэлпурния подбоченилась:

– На охоту ехать – собак кормить... – И поглядела на кухонные часы. – Без четверти четыре.

Джин-Луиза подскочила к телефону:

– Шесть-пять, пожалуйста, – и, когда отец отозвался, завывала в трубку.

– Сохраняй спокойствие и позвони Джеку, – сказал Аттикус. – Он когда-то разбирался в таких вещах.

– Ага, как же... В менюэтах минувших времен, – сказала она, но совету последовала.

Дядя откликнулся с готовностью. И под звуки Джимова проигрывателя взялся наставлять племянницу:

– Ничего тут особенного... это как в шахматах... просто сосредоточься... задницу подбери... ненавижу бальные танцы, так похоже на работу., не старайся вести... если кавалер наступил тебе на ногу, ты сама виновата – почему не убрала вовремя?., на ноги не смотри... нет-нет-нет... ну, вот, кое-что... это в общих чертах... на другое не замахивайся.

Через час напряженных усилий Джин-Луиза овладела простеньким бокс-степом. Она считала про себя и восхищалась дядюшкиной способностью говорить и танцевать одновременно.

– Ты расслабься – и все получится, – сказал он.

В награду за труды Кэлпурния предложила ему выпить кофе, а потом поужинать, и оба предложения были приняты. Доктор Финч одиноко просидел час в гостиной до прихода Аттикуса и Джима, а его племянница заперлась в ванной, где чистила перышки и танцевала. Вышла оттуда в халате, вся сияя, съела ужин и скрылась у себя в комнате, не заметив, как забавляет своих домашних.

Одеваясь, услышала на крыльце шаги Генри и подумала, что он заехал за ней рановато, но он прошел через холл в комнату Джима. Она чуть подкрасила губы «Танджи Орандж», причесалась и пригладила челку позаимствованным у Джима «Виталисом». Когда появилась в гостиной, Аттикус и доктор Финч поднялись.

– Картинка! – сказал отец и поцеловал ее в лоб.

– Осторожно! Растреплешь!

– Ну что? – спросил дядюшка. – Генеральную репетицию?

Генри заглянул в дверь, когда они танцевали в гостиной. Он заморгал при виде новых очертаний ее фигуры и прикоснулся к плечу доктора Финча:

– Дамы меняют кавалеров. – А ей сказал: – Замечательно выглядишь, Глазастик. У меня для тебя кое-что есть.

– Ты тоже отлично смотришься, Генри, – сказала она. Стрелки на его синих парадных саржевых брюках были заглажены до бритвенной остроты, горчичный пиджак еще пах чистящей жидкостью, а светло-голубой галстук, отметила Джин-Луиза, был взят напрокат у Джима.

– Хорошо танцуешь, – сказал он, и Джин-Луиза сбилась с такта.

– На ноги не смотри! – одернул ее доктор Финч. – Я же говорю: это как нести полную чашку кофе. Будешь смотреть на нее – обязательно прольешь.

Аттикус открыл крышку часов:

– Джиму, если он хочет застать Айрин, пора выдвигаться. Его таратайка больше тридцати миль не дает.

Появился Джим, но Аттикус послал его поменять галстук. Когда Джим появился вновь, Аттикус вручил ему ключи от семейного автомобиля, денег на карманные и наставление – не гнать больше пятидесяти.

– Вот что, – сказал Джим, восхитившись, как положено, красой Джин-Луизы, – вы все можете сесть в «форд» и тогда не придется со мной пилить до Эбботсвилля и обратно.

Доктор Финч беспокойно рылся в карманах пиджака:

– Для меня несущественно, как вы поедете. Только поезжайте уже наконец хоть как-нибудь. Мне действует на нервы, когда вы мельтешите перед глазами во всем своем великолепии. И Джин-Луиза взмокнет. Входи, Кэл.

Кэлпурния застенчиво стояла в холле, любуясь этими сборами, но по привычке слегка ворча. Она поправила Генри сбившийся галстук, сняла невидимую пушинку с рукава Джима и высказала пожелание, чтобы Джин-Луиза вышла с ней в кухню, а там сказала с сомнением:

– Все же, наверно, надо было пришить...

Генри крикнул, что пора ехать, пока доктора Финча не хватил удар.

– Ничего, Кэл, все будет в порядке.

Вернувшись в гостиную, она обнаружила, что дядюшка готов взвихриться от едва сдерживаемого нетерпения, являя собой яркий контраст Аттикусу, который непринужденно стоял руки в карманы.

– Идите, – сказал он. – А то через минуту придет Александра – и тогда вы точно опоздаете.

Они уже вышли на крыльцо, когда Генри остановился и, вскричав «Забыл!», кинулся в комнату Джима. Вернулся с какой-то коробкой и с низким поклоном протянул ее Джин-Луизе:

– Это вам, мисс Финч.

В коробке оказались две розовые камелии.

– Хэ-энк, – сказала она. – Они же покупные!

– Заказал в самом Мобиле. Привезли шестичасовым автобусом.

– И куда мне их?..

– Боже всемогущий! – взорвался доктор Финч. – Куда?! На подобающее им место! Поди сюда!

Он вырвал камелии из рук племянницы и приколот их ей к плечу, сурово оглядев при этом ее накладной бюст:

– Ну, может быть, вы наконец соизволите шагнуть за порог?

– Ой, сумочку забыла.

Доктор Финч извлек носовой платок и утер подбородок.

– Генри, – сказал он. – Ступай, заведи свою гадкую тарыхтелку. Мы к тебе выйдем.

Джин-Луиза поцеловала на прощанье отца, а тот сказал:

– Надеюсь, это будет лучший вечер в твоей жизни.

Спортивный зал средней школы округа Мейкомб был изысканно украшен воздушными шариками и красно-белыми гирляндами из крепированной бумаги. В дальнем конце был накрыт длинный стол: бумажные стаканы, блюда сэндвичей, стопки салфеток окружали две чаши для пунша. Свеженатертый пол блестел, баскетбольные корзины подтянули к самому потолку, переднюю часть помоста украсили зеленью, а в центре по не вполне понятной причине установили большие красные буквы СШОМ.

– Красиво, скажи, а? – сказала Джин-Луиза.

– Загляденье, – подтвердил Генри. – И зал, когда нет игры, как будто больше.

Они присоединились к старшим и младшим братьям-сестрам, толпившимся у стола. Джин-Луиза явно произвела на собравшихся впечатление. Девочки, с которыми она виделась ежедневно, расспрашивали, откуда платье, словно их туалеты были не из того же магазина. «Кэлпурния купила у Гинзберга», – отвечала она. Мальчишки, которым она еще несколько лет назад выцарапывала глаза, застенчиво заводили с нею чинный разговор.

Когда Генри протянул ей стакан пунша, она шепнула:

– Если хочешь пойти к своим или еще чего – давай. Ничего.

– У меня свидание с тобой, Глазастик, – улыбнулся он.

– Я знаю, но не хочется, чтобы ты чувствовал себя обязанным...

Он рассмеялся:

– Не волнуйся, не чувствую. Я хотел привести тебя сюда. Пошли потанцуем.

– Пошли.

Он вытащил ее в центр зала. Из динамиков как раз полилась медленная мелодия, и Джин-Луиза, про себя отсчитывая «раз-два-три», справилась с танцем и сделала только одну ошибку.

Бал продолжался, и она поняла, что успех, пусть и скромный, она снискала. Ее приглашали наперебой, а если вдруг и случалась заминка, рядом неизменно оказывался Генри.

Самолюбие заставляло ее пережидать джиттербаги или латиноамериканские танцы, и Генри сказал, что когда она выучится танцевать и при этом разговаривать с кавалером, ей вообще цены не будет. Джин-Луизе хотелось, чтобы этот вечер не кончался никогда.

При появлении Джима и Айрин по залу пролетел гул. Джим не так давно был удостоен титула Самый Красивый, и на законных основаниях – от матери он унаследовал волоокый взор, от Аттикуса – густые, как у всех Финчей, брови и правильные черты лица. Айрин разоделась по последнему слову моды – облегающее платье из зеленой тафты, туфли на высоких каблуках, – а когда она танцевала, на запястьях у нее звенели десятки браслетиков. У нее были холодные зеленые глаза, иссиня-черные волосы, быстрая улыбка, и относилась она к тому типу девушек, в которых Джим влюблялся с завидным однообразием.

Он исполнил братский долг, потанцевав с Джин-Луизой, сказал, что у нее замечательно все выходит, однако нос блестит, и в ответ узнал, что выпачкан губной помадой. Отбив песню, Джим вверил сестру заботам Генри.

– Не могу представить, что ты в июне уходишь в армию, – сказала она. – Неужели ты уже такой старый?

Генри открыл было рот, но неожиданно вытаращился и рывком притянул ее к себе.

– Что такое, Генри?

– Тебе не кажется, что тут жуткая духота? Пошли на улицу.

Джин-Луиза попыталась вырваться, но он держал крепко и дотанцевал с нею до боковых дверей, открытых в темноту.

– Ты ошалел, Генри? Чего я сказала-то?..

Он взял ее за руку и повел кругом к подъезду школы.

– Э-э... – сказал он затем и взял ее за другую руку. – Милая... Осмотри себя... э-э... спереди.

– Ничего не вижу в такой темнотище.

– Тогда пощупай.

Она пощупала и ахнула. Правая накладная грудь сдвинулась к самой середине, а левая уехала куда-то под мышку. Она вернула их на место и ударилась в слезы.

Села на крыльцо; Генри пристроился рядом и обнял ее за плечи. Выплакавшись, она спросила:

– Ты когда заметил?

– Вот честно, как заметил, так и вывел тебя из зала.

– Как считаешь – давно они надо мной ржут?

Генри покачал головой:

– Я думаю, вообще никто не видел. Слушай, Джим танцевал с тобой до меня – уж он обязательно сказал бы.

– У Джима голова занята одной Айрин. Циклон начнется – он и то не заметит. – Она вновь начала негромко всхлипывать. – Как я им теперь на глаза-то покажусь?!

Генри крепче обхватил ее плечи.

– Глазастик, поверь мне – эта штука сдвинулась, когда мы танцевали. По логике именно так получается – если что, сказали бы, сама же понимаешь.

– Нет, не понимаю. Они бы перешептывались и хихикали у меня за спиной.

– Ну не старшие же, – утешил Генри. – Ты же успела потанцевать с целой футбольной командой, пока Джим не пришел.

Да, она успела. Все игроки по очереди чинно просили оказать им честь: Джим втихомолку устроил так, чтобы его сестра получила удовольствие от вечера.

– И потом, – добавил Генри, – они мне не нравятся. Ты в них на себя не похожа.

Это ее уязвило.

– Вот так раз. Ты что хочешь сказать – я выгляжу в них смешно? Так я и без них смешная.

– Я хочу сказать, что ты – не Джин-Луиза. И вовсе ты не смешная. Мне вот очень нравится, какая ты.

– Спасибо, Хэнк, но ведь это неправда. Я толстая не там, где надо, и...

– Тебе сколько лет-то? – гаркнул Генри. – Пятнадцати еще нет! Ты же еще растешь! Помнишь Глэдис Грирсон? Помнишь, как все ее дразнили «Жирная Жо...»?

– Хэнк!

– А посмотри на нее сейчас.

Ради Джин-Луизы прелестная Глэдис Грирсон, истинное украшение выпускного класса, в отрадной версии Генри пострадала больше, чем на самом деле.

– Да... А сейчас – прямо статуэтка.

– Слушай, Глазастик, – властно сказал Генри. – Эти штуки будут тебе мешать весь вечер. Сними ты их лучше совсем.

– Не сниму. Пошли домой.

– Мы пойдем не домой, а обратно в зал и будем веселиться.

– Не пойду!

– А я сказал – пойдешь! Так что снимай!

– Отвези меня домой, Генри.

Но разозлившийся Генри уже запустил бескорыстную руку ей за ворот, вытащил арматуру, оскорбляющую природу, и зашвырнул в темноту как можно дальше.

– *Теперь-то* пойдем назад?

Никто в зале вроде бы не обратил внимания на перемену в ее наружности, что, по словам Генри, только лишний раз подтверждало – она тщеславна как павлин, раз уж так уверена, что все глаз с нее не сводят.

На следующий день были занятия, и бал завершился в одиннадцать. Генри остановил машину во дворе Финчей под сиренью. Довел Джин-Луизу до крыльца и, прежде чем открыть перед ней дверь, приобнял и поцеловал. Джин-Луиза почувствовала, как вспыхнули у нее щеки.

– Еще раз – на счастье, – сказал он.

Снова поцеловал, впустил, закрыл дверь, и Джин-Луиза слышала, как он насвистывает, перебегая через дорогу к своему дому.

Хотелось есть, и она крадучись пошла через холл в кухню. Из-под двери отцовской спальни пробивался свет. Она постучала и вошла. Аттикус читал в постели.

– Ну как? Славно было?

– Было ве-ли-ко-лепно! – сказала она. – Аттикус?..

– М-м?

– Как ты считаешь – Хэнк уже слишком стар для меня?

– Что?

– Ничего. Спокойной ночи.

Она была так поглощена мыслями о Генри, что на перекличке опомнилась, лишь когда классная руководительница объявила о специальном сборе средней и старшей школ, имеющем быть сразу после звонка на первый урок.

В актовый зал она пришла, думая лишь о том, что сейчас увидит

Генри, и слабо интересуясь мероприятием. Наверно, опять подписка на очередной военный заем.

Директора средней школы округа Мейкомб звали мистер Чарльз Пуф, и он, компенсируя свою фамилию, всегда был сурово-бесстрастен, как индейский вождь с пятицентовой монеты. Это касалось только наружности, а внутреннее содержание вдохновляло значительно меньше – мистер Пуф, неудавшийся профессор педагогики, был человеком глубоко разочарованным и не питал никакой симпатии к юношеству. Родом он был с холмов Миссисипи, и прижиться ему в Мейкомбе было сложно – практичные и трезвые горцы обычно не понимают мечтательных обитателей побережья, и мистер Пуф не составлял исключения. Едва успев прибыть в Мейкомб, он с ходу сообщил родителям, что в жизни не встречал детей, хуже воспитанных, что по-хорошему самое место им – на фермах, что футбол с баскетболом – зряшная трата времени и что он, по счастью, не видит ни малейшего прока в клубах и кружках и прочей внешкольной работе, ибо школа, как и жизнь, есть деловое предложение.

Вверенный его попечению контингент учащихся от мала до велика платил ему той же монетой – мистера Пуфа терпели и по большей части не замечали.

Джин-Луиза, как и весь ее класс, сидела в середине актового зала. Старшеклассники расположились в глубине, в последних рядах через проход, но ей нетрудно было повернуться и увидеть Генри. Сидевший рядом с ним Джим, как всегда по утрам, злился, отмалчивался и источал яд. Когда обратившийся к залу мистер Пуф для начала сделал несколько объявлений, Джин-Луиза с благодарностью поняла, что собрание займет весь урок и математики, слава Богу, не будет. Она обернулась, когда мистер Пуф перешел к делу.

Он сообщил, что сталкивался со всеми разновидностями учеников, причем кое-кто из них носил в школу пистолеты, но никогда в своей многолетней практике не видал более вопиющего проявления безнравственности, нежели то, что предстало его глазам сегодня утром.

Джин-Луиза переглянулась с соседями.

– О чем это он? – прошептала она.

– Бог его знает, – ответил сидевший слева.

Понимают ли они сами масштаб своего безобразия? Надо ли напоминать, что страна ведет войну, и, однако, пока наши братья и сыновья сражаются и погибают за нас, находятся такие ученики, которые совершают оскорбительное по отношению к нашим героям бесчинство, и не выразить в словах всю меру нашего негодования.

Джин-Луиза повела глазами по рядам – обычно в таких случаях ей легко удавалось установить, кто нашкодил, но сейчас на лицах у всех читалось лишь ошеломленное недоумение.

Мистер Пуф сказал вслед за тем, что знает имя виновника, и если тот хочет рассчитывать на снисхождение, пусть явится к нему в кабинет не позднее двух часов с письменным заявлением.

Высокое собрание, подавив ропот возмущения – директор прибегнул к старому как мир педагогическому фокусу, – поднялось и последовало за мистером Пуфом наружу, к фасаду школы.

– Любит он письменные признания, – сказала Джин-Луиза. – Считает, что это придает юридической силы.

– Да, ничему не верит, если на бумаге не записано, – сказал один.

– Зато когда записано, верит каждому слову, – сказал другой.

– Может, свастику на стене намалевали? – сказал третий.

– Было уже, – сказала Джин-Луиза.

Они обогнули здание и застыли. Вроде все в порядке – мостовая подметена, двери на месте, сирень не обломана.

Мистер Пуф дождался, когда соберется вся школа, и мелодраматически воздел указующий перст.

– Смотрите, – сказал он. – Смотрите все!

Мистер Пуф был патриот. Он председательствовал во всех комиссиях, распространявших облигации военных займов, он приводил слушателей в замешательство занудными речами с призывами отдать все силы укреплению обороны, и предметом его особой гордости и заботы было возведение в школьном дворе исполинского стенда, сообщавшего, что ниже следующие выпускники СШОМ защищают отчизну. Ученикам эта затея радости не доставила – стенд обошелся каждому в двадцать пять центов, а вся слава досталась директору.

Следуя указующему персту, Джин-Луиза взглянула на стенд. И прочла «Защищают отчизн...». Закрывая последнюю букву и слегка трепыхаясь под утренним ветерком, со стенда свисали ее накладные груди.

– Еще раз говорю, – сказал мистер Пуф, – что собственноручное признание злоумышленника должно лежать у меня на столе сегодня не позднее двух часов дня. Вчера вечером я был здесь, – добавил он, выделяя голосом каждое слово. – Теперь – всем по классам.

Вполне, кстати, возможно. Мистер Пуф на школьных балах вечно шнырял по окрестностям, охотясь на тех, кто обжимался. Заглядывал в окна припаркованных машин, шарил по кустам. Вдруг он и впрямь засек их вчера? И зачем только Хэнк зашвырнул туда эти штуки?

– Блефует, – сказал Джим на перемене. – А может, и нет.

Они сидели в столовой. Джин-Луиза очень старалась держаться как ни в чем не бывало. Вся школа буквально чуть не лопалась от смеха, ужаса и любопытства.

– Ну все-таки... давайте я схожу к нему, а?.. – сказала она.

– Ты спятила? Чего – не знаешь, как он относится к таким делам? Да и потом, это я сделал, – сказал Генри.

– Сделал ты, а носила я!

– Я понимаю, каково Хэнку, – сказал Джим. – Он не может тебя отпустить к директору.

– Не понимаю, почему.

– В стотысячный раз тебе говорю – не могу! Не могу – и все! Сама не понимаешь?

– Нет.

– Джин-Луиза, у нас с тобой было вчера свиданье.

– Мне никогда не понять мужчин, – сказала она. Любви к Генри как не бывало. – Ты вовсе не обязан меня выгораживать, Хэнк. И сегодня у нас свидания нет. Сам знаешь – ты признаться не можешь.

– Она права, Хэнк, – сказал Джим. – Он не выдаст тебе аттестат.

А для Генри аттестат зрелости значил больше, чем для любого из его приятелей. Многим даже лучше было бы: если выгонят – моментально поступят в интернат.

– Он жутко разозлился, сами видели, – сказал Джим. – С него станется выпереть тебя за две недели до окончания.

– Вот и давайте я схожу, – сказала Джин-Луиза. – Пусть меня выпрут, я не возражаю. – Еще бы она возражала: школа опротивела ей нестерпимо.

– Не в том дело, Глазастик. Тебе нельзя – и все. Я могу объяснить... – сказал Генри и сейчас же, вообразив далеко идущие последствия своего порыва, осекся. – Нет, не могу... Ничего не могу объяснить.

– Ладно, – сказал Джим. – Значит, дела такие. Хэнк, я все же думаю, это блеф, но очень даже может быть, что и не блеф. Он ведь в самом деле вечно рыщет. Мог вас услышать – вы сидели-то прямо под окном его кабинета...

– В окнах не было света, – сказала Джин-Луиза.

– ...а он любит сидеть в темноте. Значит, если Глазастик признается, это будет позор, а если ты, Генри, – то он тебя вышибет, как дважды два. А ведь тебе, сынок, нужен аттестат зрелости.

– Джим, – сказала Джин-Луиза. – Философствовать, конечно, прекрасно, но так мы с места не сдвинемся.

– И твое положение, Генри, я оцениваю следующим образом, – сказал Джим, бесстрастно пропустив мимо ушей реплику сестры. – Что в лоб, что по лбу.

– Я...

– Замолчи, Глазастик! – окрысился Генри. – Как я буду людям в глаза смотреть, если отпущу тебя к нему? Неужели непонятно?

– Да ты, оказывается, у нас герой.

Генри вскочил.

– Погоди-ка! – крикнул он. – Джим, дай мне ключи от машины и сбреши что-нибудь на самостоятельных...

– Пуфик услышит шум мотора.

– Не услышит. Я вытолкаю машину на дорогу. И вообще, он будет на самостоятельных работах.

Ускользнуть из-под надзора мистера Пуфа было нетрудно. Учениками своими он не интересовался и по именам знал только самых злостных нарушителей дисциплины. Самостоятельные занятия проходили в библиотеке, но если кто-нибудь внятно формулировал желание смыться, шеренги смыкались, и оказавшийся крайним в ряду выставлял свободный стул в коридор, а по окончании занятий – возвращал.

Джин-Луиза вполуха слушала учительницу английского, и пятьдесят томительных минут спустя Генри остановил ее, когда она шла на основы гражданственности.

– Вот что, – сказал он деловито. – Сделаешь, в точности как я говорю: скажешь ему ты. Пиши. – Он протянул ей карандаш, а она открыта тетрадку. – Пиши: «Уважаемый мистер Пуф. Думаю, что это моя вещь». Подпишись. Обведи лучше чернилами, чтобы он поверил. Часов в двенадцать пойдешь и вручишь. Поняла?

Она кивнула:

– Поняла. К двенадцати.

Придя на урок, она увидела, что тайное стало явным. В коридоре группами слонялись, болтали и пересмеивались школьники разных классов. Она хладнокровно снесла усмешки и подмигивания – ей даже почти полегчало. Взрослые постоянно предполагают худшее, думала она и была уверена, что ее сверстники верят лишь тому, что распускают Джим и Генри – не больше и не меньше. А вот зачем они разболтали? Над ними троими все будут смеяться – им-то все равно, они выпускники, а ей торчать тут еще три года. Да нет, какое там – Пуфик исключит ее из школы, а Аттикус уйдет куда-нибудь. Лопнет со злости, когда директор расскажет ему эту чудовищную историю. Ну ладно, зато Хэнка прикрыли. И он, и

Джим вели себя по-рыцарски, а вышло-то все в конце концов по ее. Деваться некуда.

Она переписала свое признание чернилами; полдень приближался, и ее смятение росло. Обычно-то ей доставляло огромное удовольствие препираться с Пуфиком, которому можно было сказать едва ли не все что угодно при том неременном условии, что говоривший сохраняет значительный и скорбный вид. Но сегодня ей было не до диалектических тонкостей. Она волновалась и презирала себя за это.

У дверей ее чуть не затошнило от страха. Если перед учениками Пуфик назвал поступок непристойным и безобразным, что он скажет горожанам? Мейкомб обожает сплетни и слухи, и они обязательно долетят до Аттикуса...

Мистер Пуф сидел за столом, вперив в крышку испытующий взор.

– Что тебе? – спросил он, не поднимая глаз.

– Вот... хотела вам отдать это, сэр, – сказала Джин-Луиза, невольно попятившись.

Директор взял лист, скомкал его, не читая, и швырнул в мусорную корзину.

Земля поплыла у нее под ногами.

– Мистер Пуф, – залепетала она. – Я хотела... я пришла... вам сказать. Я их купила у Гинзберга, – прибавила она неизвестно зачем. – И совсем не хотела...

Директор поднял голову, от ярости багровея:

– Какое мне дело, чего ты хотела или не хотела? Что ты торчишь передо мной со своими глупостями?! Никогда еще в моей практике не было случая...

Джин-Луиза приготовилась принять свой удел.

Но чем больше она слушала директора, тем отчетливее ей казалось, что обращается он не столько к ней, сколько ко всей школе, и теперешние рацеи его – всего лишь отзвук утренних. Он уже закруглял свою речь кратким экскурсом в историю нездоровых отношений, бытующих в округе Мейкомб, когда она решила его перебить:

– Сэр, я только хотела сказать, что не надо никого больше наказывать за то, что я сделала... Я одна виновата: пожалуйста, не ищите соучастников...

Директор впился пальцами в столешницу и процедил сквозь зубы:

– А вот за эту дерзость, мисс, я вас оставляю на час после уроков.

Джин-Луиза глубоко вздохнула:

– Мистер Пуф... Тут, наверно, какая-то ошибка... Честное слово, я

ведь не...

– Вы ведь?! Смотрите!

Директор схватил со стола толстую пачку тетрадных листков и швырнул ей:

– Вы, мисс, сегодня сто пятая!

Джин-Луиза проглядела листки. Все одинаковые. И на всех написано одно и то же: «Уважаемый мистер Пуф. Думаю, что это моя вещь» – и подписи всех старшеклассниц средней школы округа Мейкомб.

Постояв минутку в глубоком раздумье, но так и не придумав, какими словами утешить мистера Пуфа, она тихонько выскользнула из кабинета.

* * *

– Мы его сделали, – сказал Джим по дороге на обед.

Джин-Луиза сидела между братом и Генри, который сумрачно слушал ее отчет о душевном состоянии мистера Пуфа.

– Хэнк, ты просто гений! – сказала она. – Как ты до такого додумался?

Генри глубоко затянулся сигаретой и выбросил ее в окно.

– Я проконсультировался с моим адвокатом, – важно ответил он.

Джин-Луиза зажала рот руками.

– Да-да. Ты ведь знаешь, он ведет мои дела еще с тех пор, когда я пешком под стол ходил. Ну и вот, я съездил в город и объяснил ему суть вопроса. И попросил совета.

– Это тебя Аттикус подучил? – спросила потрясенная Джин-Луиза.

– Нет, он не подучивал. Это была моя идея. Он походил немножко вокруг да около, сообщил, что все это вопрос баланса интересов, что ли, а я – в слабой, но интересной позиции. Развернулся в кресле, посмотрел в окно и сказал, что всегда старается влезть в шкуру клиента... – Тут Генри умолк.

Ну?

– Ну, а потом добавил, что ввиду исключительной деликатности вопроса и очевидного отсутствия преступного умысла он пошел бы на то, чтобы слегка запорошить глаза присяжным – уж не знаю, что это значило, – а потом... ну, я, ей-богу же, не знаю...

– Хэнк, все ты знаешь!

– Ну, в общем, потом он сказал чего-то насчет численного перевеса и что на моем месте даже не думал бы о ложных показаниях, но, насколько ему известно, все накладные бюсты одинаковы, и что, мол, больше ничем

не может мне быть полезен. Еще сказал, что счет за консультацию придет в конце месяца. И я еще за порог не успел ступить, как меня осенило!

– Хэнк, – сказала Джин-Луиза, – а про то, что он скажет мне, речи не было?

– Тебе? – Генри обернулся к ней. – Тебе он ни слова не скажет. Ты что! Адвокатская тайна!

Хлоп. Она расплющила о стол бумажное ведерко и с ним вместе – эти образы. Солнце стояло на двух часах, как стояло вчера и станет завтра.

Ад – это вечная отчужденность. Чем она так тяжело согрешила, что до конца дней своих должна пробиваться к тем, по кому тоскует и томится душа, совершать тайные вылазки в далекое прошлое, не бывая в настоящем? Я – плоть от плоти их, корни мои уходят в эту почву, здесь мой дом. Но выходит, что кровь чужая, а почве безразлично, какие корни цепляются за нее, я – посторонняя среди посторонних.

– Хэнк, а где Аттикус?

Генри поднял на нее глаза:

– А-а, привет. Он на почте. А мне пора кофе выпить. Составишь компанию?

Та же сила, что погнала ее из кафе мистера Канингема в отцовскую контору, теперь заставила ее пойти вместе с Генри: хотелось снова и снова украдкой глядеть на них, убеждаться, что с ними не произошло вдобавок и каких-то пугающих физических превращений, а вот говорить с ними желания не было ни малейшего – ни говорить, ни прикасаться к ним, чтобы как-нибудь ненароком не стать свидетельницей новой мерзости.

Она шла рядом с Генри в аптеку и размышляла над тем, когда – осенью или зимой – намеревается Мейкомб погулять у них на свадьбе. Похоже, у меня совсем мозги набекрень. Я не могу переспать с человеком, чьи взгляды не разделяю. А сейчас я и говорить с ним не могу. Не могу говорить с самым старым другом.

Они сели за стол лицом друг к другу, и Джин-Луиза принялась внимательно рассматривать подставку с салфетками, сахарницу, перечницу и солонку.

– Ты чего такая тихая? – спросил Генри. – Ну, как прошло?

– Чудовищно.

– Хестер была?

– Да. А ей ведь столько же лет, сколько тебе и Джиму?

– Наша одноклассница. Билл утром говорил, она усиленно готовилась – наносила боевую раскраску.

– Хэнк, кажется, зря она за него вышла.

– С чего ты взяла?

– Он совершенно засорил ей голову...

– Чем?

– Всякой чушью насчет католиков и коммунистов и еще Бог знает кого... У нее теперь все перемешалось...

– Эх, милая, – засмеялся Генри. – Да Билл для нее – единственный свет в окошке. Билл вращает землю. Что Билл скажет – то заповедь Господня. Он ее мужчина, она его любит.

– Это и значит «любить»?

– Ну да, в большой степени.

– То есть надо раствориться в своем мужчине? – сказала Джин-Луиза.

– Ну, в общем, да, – сказал Генри.

– В таком случае я, наверно, замуж не выйду. Я никогда еще не встречала такого...

– Ты вроде бы за меня собиралась выйти, забыла?

– Хэнк, давай я сейчас скажу, чтоб уж больше к этому не возвращаться: я не собираюсь за тебя замуж. Точка. Большая и жирная. Она не собиралась это говорить, но вот – не удержалась.

– Это я уже слышал.

– Что ж, тогда скажу кое-что еще: если ты хочешь жениться (Боже, она ли это говорит?), – начинай подыскивать себе жену. Я никогда не была в тебя влюблена, но ты всегда знал, что ты мне – близкий и дорогой человек. И я думала раньше, что на этом можно было бы построить наш союз.

– Что?

– Но теперь и этого нет. Я понимаю, что тебе больно это слышать, и тем не менее. – Да, это произносит она, с обычной своей самоуверенностью, произносит – и разбивает ему сердце в этой вот аптеке. Что ж, разве он не разбил ее?

Генри сперва замер, потом вспыхнул, и рубец стал набухать.

– Джин-Луиза, ты сама не понимаешь, что говоришь.

– Понимаю каждое слово.

Больно, а? Вот именно – очень больно! Теперь знаешь, каково это.

Генри потянулся через стол и взял ее за руку. Джин-Луиза высвободилась.

– Не прикасайся ко мне!

– Да что с тобой? Что случилось? Джин-Луиза, милая?

Случилось? Я скажу тебе, что случилось, и вряд ли тебе понравится.

– Ладно, Хэнк. Случилось вот что: я вчера была на этом самом собрании. И видела вас с Аттикусом во всей славе вашей за столом, рядом с... с этим чудовищем, этим гнусным человеком... И, знаешь, мне стало дурно. Просто от парня, за которого я собиралась замуж, просто от родного отца меня замутило и вывернуло наизнанку, и это еще не унялось! Ради Бога, ответь мне – как ты мог? Как ты мог?

– Джин-Луиза, в жизни порой приходится делать то, чего не хочешь.

– Прекрасно сказано! Мне казалось, дядя Джек спятил, но теперь я в этом не уверена!

– Ты пойми... – Генри переставил сахарницу на середину стола, сдвинул обратно. – Взгляни на это иначе. Вся затея с советом граждан – это... это протест против решения Верховного суда, такое, что ли,

остережение неграм: не торопитесь так... Это...

– Это респектабельное прикрытие для всякой мрази, которая хочет встать и заорать: «Черномазые!» Как ты мог оказаться рядом с ними? Как ты мог?

Генри двинул сахарницу в ее сторону, а потом назад. Джин-Луиза забрала ее и со стуком поставила на угол стола.

– Джин-Луиза, я же говорю – порой приходится делать...

– ...много такого, чего делать не...

– Дай сказать! Да, чего делать не хочется. Пожалуйста, не перебивай... Я думаю, как объяснить, чтобы ты поняла... Знаешь, что такое Клан?

– Представь себе.

– Помолчи минутку. Когда-то Клан был вполне респектабельной организацией, вроде масонской ложи. Там состояли едва ли не все сколько-нибудь заметные люди... И мистер Финч тоже. В молодости. Ты знаешь об этом?

– Я теперь уже ничему не удивлюсь.

– Перестань! Мистер Финч их не выносит, и всегда так было. Знаешь, зачем он вступил? Чтобы досконально выяснить, кто именно в Мейкомбе скрывается под этими капюшонами. Что это за люди, кто они. Он присутствовал на одном их сборище, и этого хватило. Магистр оказался методистским пастором...

– Вот такая компания всегда была Аттикусу по сердцу.

– Да помолчи ты!.. Я пытаюсь объяснить тебе его мотивы: в ту пору ку-клукс-клайовцы были чисто политической силой – никаких горящих крестов, – но твоему отцу и тогда, и сейчас очень неуютно в обществе тех, кто скрывает лицо. Он хотел выяснить, кто они такие, установить, с кем придется драться, когда – и если – настанет время...

– ...иными словами, мой высокочтимый родитель – член Невидимой Империи.

– Джин-Луиза, дело было сорок лет назад!

– А-а, ну, тогда он сейчас уже до Великого Дракона дослужился.

– Я лишь хочу, чтобы ты за поступками видела мотивы, – сухо сказал Генри. – Иногда кажется, что человек причастен к не совсем красивым делам, но ты не торопись судить, пока не узнаешь, чем он руководствовался. Может, у него внутри все кипит, но он помнит, что вежливый ответ действенней, чем ярость напоказ. Можно клясть своих врагов, но разумней – знать их. Я и говорю – порой нам...

– То есть что – шагать со всеми в ногу, а в нужный момент...

Но Генри перебил:

– Понимаешь, тут вот какое дело. Тебе не приходило в голову, что люди – мужчины в особенности, – чтобы служить своей среде, должны отвечать определенным требованиям, которые эта самая среда им предъявляет? Мейкомб – моя родина. Здесь мне лучше всего. Здесь я довольно сильно вырос – во всех смыслах. Мейкомб знает меня, а я знаю Мейкомб. Я доверяю ему, он доверяет мне. Хлеб насущный – и масло тоже – я добываю себе здесь, Мейкомб обеспечивает мне хорошее житье. Но он же кое-чего требует взамен. Требует, чтобы ты вел добропорядочную жизнь, вступил в Киванис-клуб, ходил в церковь по воскресеньям – вел себя по его законам...

Генри, пытливо взглядываясь в солонку, провел пальцем по ее ребристым бокам.

– Не забывай, моя милая. Всего, что у меня есть, я добился тяжким трудом. Я работал вон в том супермаркете через площадь – и выматывался так, что еле сил хватало на уроки. Летом обслуживал покупателей в маминой лавке, а в свободное время вкалывал по дому. Джин-Луиза, все, что тебе и Джиму доставалось даром, мне с детства приходилось зубами выгрызать. У меня никогда не было того, что вам само шло в руки, и впредь не будет.

И отступить мне было некуда, и рассчитывать не на кого...

– У всех так, Хэнк.

– Нет, не у всех. И не здесь.

– О чем ты?

– О том, что есть такое, что для тебя просто, а для меня невозможно.

– С чего это мне такие привилегии?

– С того, что ты – Финч.

– Ну, Финч. Дальше что?

– А то, что ты и сейчас могла бы разгуливать по городу босая, расхристанная, в джинсовом комбинезоне на голое тело – и все скажут: «Порода Финчей! Это врожденное!» Мейкомб поухмылялся бы и пошел заниматься своими делами: старушка Глазастик Финч все та же. Мейкомб с радостью готов поверить, что ты купалась нагишом. «Не меняется! Джин-Луиза верна себе! Помните, как она?..»

Генри отставил солонку.

– А попробуй-ка Генри Клинтон хоть на волосок отклониться от правил, Мейкомб скажет не: «Клинтоны – они такие!», а «Плебейство не скроешь!».

– Хэнк, неправда! И ты сам это знаешь. Нечестно и неблагородно так говорить, но это дело десятое, а главное то, что это не так!

– Это так, Джин-Луиза, это так, – мягко ответил Генри. – Ты, наверно, просто никогда не задумывалась.

– Хэнк, это называется «комплексы».

– Никаких комплексов у меня нет. Просто я знаю, что такое Мейкомб. Я не страдаю на этот счет, но – врать не стану – помню об этом. Кое-что я делать не должен, а кое-что – просто обязан, если хочу...

– Что?

– Ну... Я очень хочу жить здесь, а еще – того же, чего хотят все. Добиться уважения, служить городу, работать и хорошо зарабатывать, сделать себе имя, жениться и обзавестись семьей...

– Именно в таком порядке, как я понимаю?

Джин-Луиза вскочила и выбежала из аптеки. Генри кинулся следом. В дверях обернулся и крикнул, что счет оплатит через минуту.

– Подожди ты!

Она остановилась:

– Ну?

– Милая, пойми, я просто хотел объяснить...

– Да не надо мне ничего объяснять. Я вижу перед собой мелкого человечешку, который всего боится – боится послушаться Аттикуса, боится быть самим собой, боится выглядеть иначе, чем все это тупое стадо вокруг...

Она осеклась и пошла прочь. Кажется, туда, где ставила машину. Кажется, она оставила машину у конторы.

– Джин-Луиза, прошу тебя, подожди минутку.

– Хорошо. Жду.

– Я вот сказал, что тебе многое доставалось даром...

– О-о, да, мне все само просто плыло в руки! Вот поэтому меня и тянуло к тебе. Я преклонялась перед тобой, глядя, как ты трудом и упорством добывал все, что у тебя есть теперь, как ты сам себя создавал. Я думала – для этого очень многое надо, и оно у тебя есть... И ошиблась. Оказалось – у тебя кишка тонка!

Она шагала, не обращая внимания ни на Мей-комб, который наблюдал за ней, ни на Генри, который комично и жалко плелся следом.

– Джин-Луиза, пожалуйста, послушай, что я скажу...

– О, черт, ну что еще?

– Я просто хотел сказать... спросить... Что я, по-твоему, должен делать? Чего ты ждешь-то от меня?

– Что делать? По крайней мере, носа не совать на заседания этого вонючего совета граждан! Ближе не подходить к этим подонкам! И плевать

мне сто раз, что рядом с тобой сидит Аттикус. Да пусть бы хоть сам король английский сидел справа, а лично Господь слева! Я жду, что ты поведешь себя по-мужски!

Она задохнулась негодованием.

– Ты... Ты был на войне, черт возьми, там страшно, я понимаю, но ты прошел ее, ты же ее прошел! И вернулся домой, чтобы здесь бояться всю жизнь – бояться *Мейкомба*! Мейкомба, штат Алабама! О господи!..

Они стояли у дверей конторы.

Генри схватил ее за плечи:

– Джин-Луиза, да постой же ты спокойно хоть секунду! Пожалуйста! Послушай меня! Знаю, я не Бог вещь что, но все же задумайся на минуту... Прощу тебя. Это мой город, моя жизнь, как ты не понимаешь? Черт бы все побрал, пусть я – белая шваль, но я белая шваль округа Мейкомб. Да, я трус, я – ничтожество, меня убить мало, но это мой дом. Чего ты добиваешься? Чтобы я трубным гласом оповестил весь белый свет: я Генри Клинтон, а вы все дерьмо собачье? Мне здесь жить, Джин-Луиза. Когда ты это уразумеешь наконец?

– Пока что я уразумела, что ты – бессовестный лицемер.

– Я все пытаюсь тебе объяснить, что роскошества, доступные тебе, мне не по карману. Ты вправе вести себя как вздумается, а я совсем не все могу себе позволить. Как я буду полезен городу, если он ополчится против меня? Может, мне все бросить – а ты ведь не станешь отрицать, что кое-какие знания у меня имеются и я в Мейкомбе совсем не лишний? Согласна? Мою работу кто попало не сделает. Неужели так вот все бросить, выкинуть на свалку, вернуться домой и продавать муку людям, которым мог бы пригодиться мой талант? Ты считаешь – дело того стоит?

– Генри, как ты уживаешься с самим собой?

– Легко. Иногда достаточно просто не афишировать свои взгляды, только и всего.

– Хэнк, мы с тобой на разных полюсах. Я мало что знаю, но одно знаю точно. Я с тобой не уживусь. Я не могу жить с лицемером.

Приятного тембра мужской голос у нее за спиной произнес:

– Не понимаю, почему. У лицемеров такое же право жить в этом мире, как и у всех прочих.

Джин-Луиза обернулась и встретилась взглядом с отцом: шляпа сдвинута на затылок, брови вздернуты, на губах улыбка.

– Хэнк, – сказал Аттикус, – а сходи-ка ты полюбуйся розами на площади? Найдешь верные слова для Эстеллы – она подарит тебе цветочек. Кажется, сегодня верные слова нашел я один.

Он дотронулся до лацкана со свежим алым бутоном в петлице. Джин-Луиза взглянула через площадь и увидела черную против солнца фигуру – Эстелла усердно рыхлила землю под кустами.

Протянутая Джин-Луизе рука повисла в воздухе, и Генри, уронив ее, ушел без возражений. Джин-Луиза посмотрела ему вслед.

– Ты все это знал про него?

– Разумеется.

Аттикус относился к Генри как к сыну, перенес на него всю любовь, что раньше предназначалась Джиму. Джин-Луиза внезапно осознала, что они стоят на том самом месте, где Джим умер. Аттикус заметил, как она вздрогнула.

– Не прошло, вижу?

– Не прошло.

– Пора бы уж пережить и избыть. Схоронили – и дальше пошли: надо жить.

– Не хочу про это говорить. Да и вообще мне надоело здесь торчать.

– Ну, пойдём в контору.

Отцовская контора всегда была для нее прибежищем и тихой пристанью. Джин-Луизе было там тепло и уютно, а горести, если и не улетучивались вовсе, по крайней мере, становились переносимы. Интересно, думала она, на столе те же самые выдержки из свода законов, папки и всякая канцелярская утварь, что и во времена, когда она, запыхавшись, влетала в кабинет в страстных мечтах о ванильном рожке и просила пять центов. Она и сейчас видела, как Аттикус разворачивался в своем вертящемся кресле и вытягивал ноги. Потом засовывал руку в самую глубину кармана, извлекал горсть мелочи и отбирал совсем особую монетку. Его детям всегда и всюду был вольный вход.

И сейчас Аттикус медленно уселся и развернулся к ней. Она заметила, как по его лицу скользнула и исчезла болезненная гримаса.

– Так ты все знал про Хэнка?

Знал.

– Я не понимаю мужчин.

– Ну-у, моя милая, мужья, которые обсчитывают жен, выдавая им деньги на хозяйство, и не подумают обсчитывать лавочника. Людям свойственно хранить свою порядочность в потайном ящике секретера. В каких-то делах они могут быть безупречно честны, в других – сами себя дурачат. Так что будь помягче с Хэнком: он делает большие успехи. Джек сказал мне, ты чем-то расстроена. В чем дело?

– Джек сказал тебе...

– Ну да. Звонил недавно. И среди прочего сказал, что ты вот-вот выйдешь на тропу войны, если еще не вышла. Судя по тому, что я слышал, – это произошло.

Ах вот как, значит. Кажется, пора бы привыкнуть, что близкие покидают ее один за другим. Доктор Финч был последней надеждой – теперь не стало и ее. Ну и черт бы с ними со всеми. Ладно. Она скажет Аттикусу, в чем дело. Скажет и уедет отсюда. Убеждать и доказывать ничего не будет – проверено опытом, что это бесполезно. Он всегда ее переспорит: она ни разу в жизни не выиграла у него ни единого спора. Больше можно и не пробовать.

– Да, сэр, я расстроена. И могу сказать, чем именно. Этим вашим советом граждан. Я считаю, это отвратительно, и заявляю об этом прямо.

Аттикус откинулся на спинку кресла.

– Джин-Луиза, – сказал он. – Ты ничего не читала, кроме нью-йоркских газет. Я не сомневаюсь, ты повсюду видишь только дикие угрозы и взрывы. У нас тут не Северная Алабама и не Теннесси. Мейкомбский совет состоит из наших граждан и ими же управляется. Наверняка ты лично знаешь там всех.

– Ну как же! Всех – начиная с этой твари Уиллоби.

– У каждого, кто пришел туда, могли быть свои причины. Причем разные.

Не припомню иной войны, что затевалась по такому множеству причин... Кто это сказал?

– Ну да, но сошлись все ради одного.

– Могу сказать, что туда привело меня. Федеральное правительство и Ассоциация. Скажи мне, Джин-Луиза, что ты почувствовала, узнав о решении Верховного суда?

Детский вопрос. На это она ответит.

– Я была в ярости.

Это правда. Она слышала, что оно готовится, знала, каким оно будет, считала, что оно не станет для нее потрясением, но когда купила на углу и развернула газету, пришлось зайти в первый попавшийся бар и выпить

чистого бурбона.

– Почему?

– Вот, подумала я, опять нам говорят, что надлежит делать и как быть.

Аттикус усмехнулся:

– Это была непосредственная реакция. А что ты подумала, пораскинув мозгами?

– Ничего особенного я не подумала, но испугалась. Опять они норвят поставить телегу впереди лошади.

– То есть?

Он поддразнивает ее. Ладно, пусть. Сейчас оба они на твердой почве.

– Ну, пытаясь соблюсти одну поправку, они как будто вычеркивают другую. Десятую^[60]. Она короткая, в ней всего одна фраза, но, кажется, едва ли не самая важная.

– Это ты своим умом дошла?

– Да, сэр, своим. Я ни бельмеса не смыслю в конституциях, но...

– Но пока мыслишь весьма конституционно. Валяй дальше.

Дальше? Что дальше? Дальше надо сказать, что я не могу смотреть ему в глаза. Ладно. Хочешь знать мои взгляды на Конституцию – изволь:

– Мне кажется, Верховный суд, пойдя навстречу реальным нуждам небольшой группы населения, совершил нечто ужасающее – такое, что всерьез навредит огромному большинству. То есть сделал все наоборот. Аттикус, я правда же не разбираюсь... Но, по-моему, между нами и каким-нибудь не в меру бойким пареньком, которому нейметя, стоит только Конституция, а тут вдруг является Верховный суд и шутя-играя отменяет целую поправку. У нас вроде бы система сдержек и противовесов, но когда доходит до дела, сдержать этот самый суд нам нечем и уравновесить – тоже. Потому что – кто ж на такое отважится? О господи, я вещаю как в Актерской студии...^[61]

– Что-что?

– Неважно. Я... я просто хочу сказать, что, пытаясь поступить правильно, мы подвергаем реальной опасности само наше устройство.

Она взъерошила волосы. Обвела взглядом ряды черно-коричневых книжных корешков – переплетенные судебные отчеты. Посмотрела на выцветшую картину «Девять стариков», висевшую слева. Жив ли еще Робертс?^[62] Она не помнила.

– Итак, ты говоришь... – вернул ее к действительности терпеливый голос отца.

– Да... Я говорю, что... что не сильно разбираюсь в

правительственных делах, во всякой экономике, да, если честно, мне и не интересно особо, но я знаю одно: для меня, маленького гражданина этой страны, федеральное правительство – сплошь унылые коридоры и долгое сидение под дверью. Чем больше у нас есть, тем дольше мы ждем и тем больше устаем от ожидания. Вот эти замшелые старцы-рутинеры на картине понимали это – но теперь, вместо того чтобы провести законопроект через Конгресс, через законодательные собрания штатов, как полагается, мы, пытаясь все исправить, просто позволили им понастроить новых коридоров, где ждать придется вообще до бесконечности...

Отец выпрямился в кресле и рассмеялся.

– Я же сказала, что ничего в этом не смыслю.

– Милая моя, ты так рьяно ратуешь за права штатов, что рядом с тобой я просто либерал рузвельтовского толка.

– Ратую за права штатов?

– Теперь, когда я настроил уши на восприятие женской логики, могу сказать, что наши с тобой убеждения очень схожи, – сказал Аттикус.

Хотелось вытравить из души все, что она увидела и услышала здесь, уползти в Нью-Йорк, оставить себе лишь память об отце. О нем, о Джиме, о себе, о тех временах, когда все было просто, а люди не лгали. Но она не могла допустить, чтобы отец вступил с нею в сговор и избежал суда. Да еще сдобрить все это лицемерием.

– Аттикус, если ты веришь в это, почему не поступаешь по справедливости? Как бы отвратителен ни был Верховный суд, он сделал, что должно, он положил начало...

– Иными словами – если Верховный суд сказал, мы должны взять под козырек? Нет, моя дорогая! Я рассуждаю иначе. И совершенно напрасно ты думаешь, что я, отдельно взятый гражданин, подчинюсь. Ты сама сказала, что в этой стране только одно выше Верховного суда – и это Конституция.

– Аттикус, мы друг друга не слышим.

– Ты чего-то не договариваешь. О чем ты?

Темная Башня. Чайльд-Роланд к Темной Башне пришел. Мы учили это в школе. Дядя Джек. Теперь я вспомнила.

– О чем я? О том, что я не в восторге от того, как они это сделали, и «не в восторге» – это еще очень мягко сказано, я в ужасе от того, как они это сделали, но они должны были это сделать. Аттикус, пришла пора поступить по справедливости.

– По справедливости?

– Именно, сэр. Пора дать им шанс.

– Неграм? А у них его нет?

– Да вот нет, представь себе.

– И что же, скажи на милость, мешает любому негру в этой стране пойти, куда хочется, и заниматься, чем нравится?

– Это вопрос с подковыркой, и ты это отлично знаешь! Меня так тошнит от этой двойной морали, что...

Он уколол ее, и она дала понять, что почувствовала укол. Не удержалась.

Аттикус взял карандаш и постучал им по столу.

– Скажи-ка мне, Джин-Луиза, – сказал он. – Тебе никогда не приходило в голову, что если в рамках одной цивилизации рядом живут люди отсталые и люди передовые, социальной Аркадии быть не может?

– Ты сбиваешь меня, Аттикус, речь не о том, давай пока социологию сюда не вмешивать. Приходило, приходило, но, знаешь, мне доводилось слышать и кое-что иное. Есть одна формула, и она вживлена мне в самый мозг. Звучит так: «Равные права – всем, особые привилегии – никому», и для меня значит именно и только это. А не то, что карту с верха колоды сдают белому, а с низу – черному. И...

– Что ж, давай взглянем под таким углом, – сказал отец. – Ты не станешь отрицать, что наше чернокожее население – отсталое? Ты это признаешь? И все смыслы слова «отсталость» ты понимаешь, не правда ли?

– Да.

– И ты отдаешь себе отчет в том, что на Юге подавляющее большинство их неспособно в полной мере разделять ответственность, неотъемлемую от гражданства, и сознаешь, почему так?

– Да.

– И несмотря на это, желаешь предоставить им все права гражданина?

– Черт возьми, ты все с ног на голову переворачиваешь!

– Черта не зови, не поможет. А лучше вдумайся: на другом берегу, в округе Эбботт, сущее несчастье – тамошнее население на три четверти состоит из негров. Избиратели – пятьдесят на пятьдесят: скажем за это спасибо тамошней крупной школе. Что произойдет, если убрать ограничения? А вот что – округ не сможет содержать полный штат своих служащих, потому что если голоса негров постепенно перевесят, все кабинеты во всех ведомствах займут чернокожие...

– Откуда такая уверенность?

– Дорогая моя, ну подумай сама. Когда они голосуют, то голосуют гуртом.

– Аттикус, ты напоминаешь мне того старого издателя, который послал

газетного художника освещать Испано-Американскую войну: «Ты только давай картинки, а уж остальное – мое дело»^[63]. У тебя цинизма не меньше.

– Джин-Луиза, это не цинизм, а попытка представить тебе истину в неприкрашенном виде. Нужно видеть то, что есть на самом деле, – как и то, что быть должно.

– Почему тогда ты не показал мне, что есть на самом деле, когда я еще сидела у тебя на коленях? Зачем так неосмотрительно читал мне книги по истории и рассказывал о том, что, мне казалось, для тебя было важно? Почему не объяснил, что все это за забором с надписью «Только для белых»?

– Ты непоследовательна, дитя мое, – мягко заметил Аттикус.

– Это еще почему?

– Ты поносишь Верховный суд на чем свет стоит, а теперь как будто выступаешь от имени Ассоциации.

– Черт возьми... Дело не в неграх. Да, те добились заключения Минюста^[64], и Бог бы с ними, я зверею не из-за этого. Я просто вне себя от того, как обходятся с Десятой поправкой. Негры...

...Второстепенны на той войне, которую мы ведем сейчас... на твоей персональной войне.

– И что же – ты вступила в Ассоциацию по всей форме?

– Как ты мог подумать такое!

Аттикус вздохнул. Резче обозначились складки у губ. Пальцы с опухшими суставами повертели желтый карандаш.

– Джин-Луиза, – произнес он. – Давай я сразу кое-что тебе скажу со всей возможной прямоотой. Человек я старомодный, но в это верю всей душой. Я – демократ джефферсоновского толка. Знаешь, что это такое?

– Ух ты, а я думала, ты голосовал за Эйзенхауэра. А Джефферсон, мне казалось, был светоч Демократической партии.

– Я тебя оставлю на второй год! У Джефферсона с демократами общего лишь то, что они вешают его портреты на своих банкетах. Джефферсон считал, что право быть гражданином так просто не дают и не берут – человек должен его заработать. Избирательное право, по мнению Джефферсона, не предоставляется человеку исключительно в силу того, что он человек. Этого мало – надо еще быть ответственным человеком. Право избирать и быть избранным – бесценная привилегия, завоеванная человеком при экономической модели «живи и другим жить не мешай».

– Ты переписываешь историю.

– Вовсе нет. Тебе не повредило бы вернуться к истокам и узнать, во

что на самом деле верили наши отцы-основатели, а не доверяться пересказам и домыслам нынешних толкователей.

– Итак, ты джефферсоновец, но не демократ.

– Как и Джефферсон.

– Может, ты просто сноб?

– Может. Если дело касается правительства, я готов признать, что я сноб. Я предпочел бы, чтоб оно меня оставило в покое и позволило бы самому вести свои дела – жить и другим не мешать. И чтобы мой штат сам был хозяином у себя дома, без вмешательства Ассоциации, которая ни черта в этом не смыслит. Эта организация за последние пять лет наворотила тут такого...

– Аттикус, она не сделала и половины того, что я увидела здесь за два дня. Проблема в нас.

– В нас?

– В нас. Именно в нас. В тебе. Хоть кто-нибудь вместо перебранок и пышных словес о правах штатов и о том, какое нам нужно правительство, подумал, как помочь неграм? Поезд ушел, Аттикус. Мы сидели сложа руки и злились, горячо обсуждая, что намерен сделать Верховный суд, и еще горячее – что он сделал. И вот – дождались Ассоциацию и, естественно, пустили в ход слово «черномазые». Отыгрались на них, потому что злились на правительство. А когда появилась Ассоциация, мы не пошли на уступки – мы просто сбежали. Вместо того, чтобы хотя бы попытаться помочь им жить рядом с нами, мы бежали, как Наполеон из России. И, кажется, так мы бежали впервые в истории и, убежав, проиграли сражение. Куда им было деваться? Кто их направит? И куда? Мы более чем заслужили все, что нам преподнесла Ассоциация.

– Неужели ты взаправду так считаешь?

– Да, именно так.

– Тогда давай взглянем на вопрос практически. Ты хочешь, чтобы негры заполнили наши школы, наши церкви и театры? Ты хочешь, чтоб они оказались в нашем мире?

– Но ведь они люди, а? Как по-твоему? Когда они зарабатывали для нас деньги, мы ввозили их сюда очень охотно.

– Хочешь ли ты, чтобы твои дети ходили в школу, где, для того чтобы негрятя освоились, все критерии опустят до полу?

– Уровень образования в соседней школе опускать уже некуда, и ты это знаешь. А негры должны иметь те же возможности, что у всех остальных, получить тот же шанс, что и...

– Послушай, Глазастик, – сказал Аттикус, откашлявшись. – Ты

огорчилась, увидев меня там, где, по твоему мнению, мне быть не пристало. Я пытаюсь объяснить тебе свою позицию. Пока попытки мои безуспешны. Сообщаю исключительно для твоего сведения: весь мой опыт учит меня, что белый – это белый, а черный – это черный. И по сию пору никто не смог убедительно опровергнуть это положение. Мне семьдесят два года, но я все еще готов услышать убедительный аргумент. Теперь поразмысли вот над чем: что случится, если все негры Юга внезапно получат гражданские права? Я скажу тебе, что. Будет новая Реконструкция. Хочешь ли ты, чтобы нашим штатом управляли люди, не имеющие представления о том, как им управлять? Хочешь ли ты, чтоб городское хозяйство попало в руки... подожди минутку, не перебивай. Да, мы все знаем, чего стоит Уиллоби и вся его шайка, но назови мне хоть одного негра, который был бы так же сведущ. Скажем, мэром Мейкомба станет Зибо. Хочешь ли ты, чтобы городские финансы попали в руки столь компетентного человека? Не забывай – мы в меньшинстве... И мне кажется, дитя мое, ты все никак не поймешь, что здешние негры были и остаются большими детьми. Ты это наверняка знаешь, ты видела это всю жизнь. Они невероятно продвинулись на пути к тому, чтобы сравняться с нами и зажить жизнью белого человека, но все еще бесконечно от этого далеки. Они двигались в своем темпе, на той скорости, какую могли выдержать, и с каждым годом все больше их ходило на выборы... Но не тут-то было – объявилась Ассоциация со своими фантастическими требованиями и дичайшими представлениями о правительстве и власти... И кто вправе осуждать южан, что те возмутились, когда люди, совершенно не разбирающиеся в местных повседневных делах, стали говорить, как южанам быть и что делать?.. Ассоциации безразлично, владеет чернокожий землей или арендует ее, насколько грамотно он ведет хозяйство, хочет ли он, пытается ли он постичь начатки профессии и стать на ноги, – нет, ее интересуется только его голос... Вот я и спрашиваю – как можно осуждать Юг за желание сопротивляться нашествию людей, которые до такой степени стыдятся своей расы, что хотят от нее откреститься? И может ли человек, который здесь родился и жил так, как жила ты, видеть в этом лишь покушение на Десятую поправку? Они же пытаются уничтожить нас! Где ты была, Джин-Луиза?

– Да здесь, в Мейкомбе.

– Что ты хочешь сказать?

– Что я выросла здесь, в твоём доме, но не знала, что у тебя на уме. Я слышала лишь то, что ты говорил. А ты, видимо, не считал нужным говорить мне, что мы по природе своей лучше негров, да осенит благодать

их курчавые головы, что они могут пойти далеко, но лишь до известного предела, ты не считал нужным говорить то, что вчера на вашем собрании сказал мне мистер О'Хэнлон. И его устами говорил ты. Ты не только сноб и деспот, Аттикус, ты еще и трус. Толкуя о правосудии, ты забывал добавить, что правосудие не имеет к людям никакого отношения... И то, что ты утром сказал про Зибо-младшего, не имело никакого отношения к нашей Кэлпурнии и ко всему, что она значит для нас, к ее верности нам... Нет, ты видел только «черномазого», ты думал про Ассоциацию, ты искал баланс интересов, так?.. Я помню то дело об изнасиловании, но я тогда не поняла, в чем суть. Ты любишь правосудие, не отнять. Но – абстрактное правосудие, пункт за пунктом изложенное в записке по делу. Оно не имело ничего общего с тем чернокожим пареньком, просто тебе нужна была ясная и внятная записка. Ты любишь порядок, то дело его нарушало, и ты создал порядок из хаоса. И теперь расплачиваешься за эту маниакальную страсть к порядку.

Она была уже на ногах и держалась за спинку стула.

– Аттикус, я уже сказала тебе и повторю еще тысячу раз: предупреди своих молодых друзей, что если они хотят сохранить Наш Образ Жизни, пусть знают – он начинается у них дома. Не в школе, не в церкви – дома. Скажи им, а в пример приведи свою слепую, безнравственную, шальную дочь, которая так любит черномазых. Иди передо мной с колокольчиком и выкликай: «Прокаженная!» Признай меня своей ошибкой. Ткни в меня пальцем и скажи: «Вот Джин-Луиза Финч – как ни влиял на нее белый сброд, с которым она вместе ходила в школу, она осталась нечувствительна, словно ни в какую школу и вовсе не ходила. Все заповеди свои она получала дома от родителя». Эти семена бросил в почву ты, Аттикус, и вот теперь пожинаешь плоды в собственном доме...

– Тебе есть еще что сказать?

– Я и половины даже не высказала, – фыркнула Джин-Луиза. – Никогда не прощу тебе то, что ты со мной сделал. Ты предал меня и обманул, ты лишил меня дома, я в пустыне, и мне нет больше места в Мейкомбе, а больше нигде у меня дома быть не может.

Голос ее дрогнул:

– Скажи мне, ради Бога, почему ты не женился? Нашел бы себе какую-нибудь славную глупую леди с Юга, и она бы дала мне правильное воспитание. Сделала бы из меня медоточивую притвору, такую куколку-птичку, и я бы только хлопала ресницами, всплескивала ручками и, кроме своего благоверного, ничего бы на свете знать не хотела. Я хоть была бы счастлива. Стала бы стопроцентной обывательницей богоспасаемого

Мейкомба, жила бы своей маленькой жизнью, подарила бы тебе внуков, и ты бы в них души не чаял. Раздобрела бы, как тетушка Сандра, сидела бы на крыльце, обмахиваясь веером, и умерла бы счастливой. Почему ты не объяснил мне разницу между справедливостью и правосудием, между правдой и правом? Почему, а?

– Не счел нужным. И сейчас не считаю.

– Да нет, это было нужно, и ты сам это знаешь. О Боже ты мой... А кстати, о Боге... Почему ты не объяснил мне, что это Бог разделил людей на расы и расселил черную расу в Африке, чтоб миссионеры приезжали туда и рассказывали туземцам: мол, Иисус их любит, но велит оставаться в Африке? Что привозить их сюда было непростительной ошибкой, так что это они во всем виноваты? Что Иисус любит все человечество, но оно состоит из разных групп, а между ними всякого рода заборы и изгороди, и Господь учит, что всякий человек волен идти куда ему вздумается, но только до забора?

– Джин-Луиза, спустись на землю.

Отец произнес эти слова так непринужденно, что она осеклась. Она обрушила на него волну негодования, а он сидит себе как ни в чем не бывало. И не обнаруживает ни обиды, ни гнева. Она сознавала в глубине души, что ведет себя не как леди и что никакая сила на свете не заставит его забыть, что он джентльмен, но остановиться уже не могла:

– Ладно, спущусь. Прямо к нам в гостиную. Прямо к тебе. Я в тебя верила, Аттикус. Я смотрела на тебя снизу вверх, как никогда и ни на кого не смотрела и уже не посмотрю. Если бы ты мне хоть намекнул, пару раз нарушал обещание, рычал или срывал на мне раздражение, словом, если бы не был таким, каким я тебя знала, тогда, может, я и смирилась бы с тем, что ты теперь делаешь. Если бы раз или два я застукала тебя за чем-нибудь сомнительным и гадким, я смогла бы понять вчерашнее. Я бы сказала себе: ну что же, Мой Старикан – он Такой. Потому что вся предшествующая жизнь подготовила бы меня к такому повороту...

На лице Аттикуса было сострадание, почти мольба:

– Кажется, ты думаешь, будто меня вовлекли в какое-то злое дело. А совет, между тем, – наша единственная защита.

– Это мистер О'Хэнлон-то – наша единственная защита?

– Дитя мое, рад сообщить, что мистер О'Хэнлон – не характерный представитель совета граждан округа Мейкомб. Ты, может быть, заметила, как кратко я его представил.

– Да, Аттикус, ты был лаконичен, но этот человек...

– Беда мистера О'Хэнлона не в том, что он предубежден, а в том, что

садист.

– Зачем же в таком случае вы его пустили?

– Он изъявил желание.

– Что-что?

– Да, – сказал Аттикус бесстрастно. – Он произносит речи в таких советах, как наш, по всему штату. Попросил разрешения выступить и у нас, и разрешение это получил. Я подозреваю, он на жалованье у какой-то массачусетской организации...

Он отвернулся от нее и взглянул в окно:

– Я пытаюсь тебе втолковать, что совет – во всяком случае, наш – есть всего лишь метод защиты от...

– Какой еще, к черту, защиты! Аттикус, мы сейчас не о Конституции говорим! Как ты не понимаешь? Ты со всеми обходишься одинаково. Я ни разу в жизни не видела, чтобы ты позволил себе с неграми такой наглый, по-хамски пренебрежительный тон, какой здесь в ходу у половины белых. Когда ты говорил с неграми, никогда мне не слышалось: «Эй, черномазый, поди сюда – пошел вон». А теперь ты выставяешь руку и говоришь: «Стой здесь и ближе не подходи!»

– Мне казалось, мы сошлись на том, что...

Голос Джин-Луизы налился горькой насмешкой:

– Мы сошлись на том, что это отсталые, безграмотные, грязные, смешные, нерадивые, никчемные создания, что это так и не выросшие дети, а иные – еще и глупые дети. Но в одном мы не сошлись и никогда не сойдемся. Ты не признаешь их людьми.

– Как так?

– Ты отрицаешь, что у них есть право надеяться. Каждый человек, Аттикус, каждый, у кого есть голова, руки и ноги, появился на свет с надеждой в душе. Ни в какой Конституции это не записано. Я это, знаешь ли, как-то раз краем уха услышала в церкви. Да, они в большинстве своем – простые люди, но все же люди, а не скоты... А ты им внушаешь, что Иисус, конечно, любит их – но не очень. И ты применяешь жуткие средства для достижения целей, которые, по твоему мнению, будут благом для большинства. Твои цели могут быть распрекрасно хороши – я, пожалуй, и сама в них верю, – но нельзя использовать людей как пешки, Аттикус. Нельзя так делать. И Гитлер, и эта шайка в России делали порой кое-что полезное для своих стран, но при этом истребляли десятки миллионов...

– Гитлер? – усмехнулся Аттикус.

– Ты ничем не лучше. Вот настолечко даже не лучше. Просто те кромсали тела, а ты калечишь души. Ты пытаешься сказать им: «Ребята,

ведите себя прилично. Будете послушны – мы дадим вам жить, а не будете – ничего не дадим, а то, что раньше дали, – отнимем...» Я знаю, что двигаться надо постепенно, Аттикус. Я прекрасно понимаю. Но еще я знаю, что в итоге мы придем туда, куда идем. И интересно, что произойдет, если на Юге провести Неделю Доброты к Неграм? Если хотя бы неделю Юг будет с ними вежлив – просто беспристрастно вежлив? Интересно, что будет. Как считаешь, от этого негры нос задерут или у них проклюнутся начатки самоуважения? Тебя когда-нибудь унижали, Аттикус? Ты знаешь, каково это? Только не начинай опять про то, что они дети и ничего такого не чувствуют: я была ребенком, однако чувствовала все. Наверняка и взрослые дети тоже чувствуют. От настоящего, хорошего унижения, Аттикус, человеку кажется, что такой твари, как он, не место среди людей. И для меня непостижимая загадка – как негры умудряются сохранять человеческие черты, после того как им добрых сто лет внушали, что они – не люди. Любопытно было бы взглянуть, какое чудо сотворит одна неделя уважения... Ни малейшего проку нет все это говорить, потому что мне тебя не сдвинуть ни на дюйм. Ты обманул и предал меня так, что словами не выразить, но ты не волнуйся – в дураках осталась я.

Одному человеку на свете я доверяла безоглядно – и теперь все пропало.

– Я убил тебя, Глазастик. Я должен был.

– Хватит этих двусмысленностей! Ты – милый, славный старый джентльмен, и я больше не поверю ни единому твоему слову. Я ненавижу тебя и все, что ты отстаиваешь.

– А я вот тебя люблю.

– Не смей мне это говорить! Любишь?! Черта с два! Аттикус, я убираюсь отсюда... не знаю еще куда, но отсюда – точно. И до конца дней своих не хочу ни видеть Финчей, ни слышать о них.

– Дело твое.

– Ты старая лицемерная кольцехвостая гадина! Ты сшиб меня с ног, растоптал и сверху плюнул, а теперь говоришь: «Дело твое», «Дело твое» – когда все, что мне было дорого в этом мире... «Дело твое»... И еще смеешь уверять, что любишь меня... Ты негодяй!

– Хватит, Джин-Луиза.

«Хватит» – неизменно говорил он, призывая ее к порядку в те времена, когда она верила ему. Он вонзает ей в сердце нож и еще поворачивает клинок... Как он смеет так глумиться надо мной? Господи, унеси меня отсюда... Господи, унеси меня...

Часть VII

Она не помнила, как завела машину, как вырулила на дорогу, как доехала до дому, не устроив аварию.

А я вот тебя люблю. Дело твое. Не произнеси Аттикус этих слов, она, может, и выжила бы. Если бы он сражался честно, она швырнула бы его слова ему же в лицо, но ртуть не поймаешь и в руках не удержишь.

У себя Джин-Луиза бросила на кровать чемодан. Я родилась прямо здесь. Почему ты не задушил меня тогда? Зачем дал мне прожить так долго?

– Что ты делаешь, Джин-Луиза?

– Вещи собираю, тетя Сандра.

Тетушка подплыла к кровати:

– Но у тебя еще целых десять дней. Что-нибудь случилось?

– Тетя, я тебя умоляю – отвяжись ты от меня, Бога ради!

– Я была бы тебе очень признательна, если бы ты избавила меня в моем доме от этой северной вульгарности. Что не так, я спрашиваю?

Джин-Луиза открыла шкаф, сорвала с вешалок платья и запихала их как попало в чемодан.

– Кто же так укладывает вещи?

– Я.

Она вытащила из-под кровати туфли и швырнула их к платьям.

– Что все-таки случилось?

– Тетя, можешь опубликовать коммюнике по поводу того, что я уезжаю из Мейкомба так далеко, что обратный путь займет лет сто! Я желаю никогда больше не видеть ни этот город, ни тех, кто тут живет, включая всех вас, здешнего гробовщика, судью по делам о наследствах и председателя церковного совета методистской церкви!

– Ты поругалась с Аттикусом?

– Поругалась.

Тетушка присела на кровать и сложила руки:

– Джин-Луиза, я не знаю, из-за чего у вас вышла ссора и, судя по тому, как ты выглядишь, – ссора серьезная, но я знаю другое. В роду Финчей убегать не принято.

– Ради Бога, не рассказывай мне, что в роду Финчей принято, а что – нет. Мне вот так хватило того, что делают Финчи, и терпеть я больше не могу ни единой минуты! Ты вливала мне это в глотку чуть ли не с

рождения – твой отец то, Финчи это! Мой отец – такое, что у меня язык не поворачивается сказать, мой дядюшка – какая-то Алиса в Стране чудес, а ты... ты – напыщенная, узколобая старая...

Она в ошеломлении осеклась: по тетушкиным щекам катились слезы. Джин-Луиза впервые видела ее в таком состоянии. Заплавав, тетушка сделалась похожа на человека.

– Тетя, прости меня, прости. Это был удар ниже пояса. Прости, пожалуйста.

Александра потерявила кружева на покрывале:

– Все хорошо. Не беспокойся.

Джин-Луиза поцеловала ее в щеку.

– Я сегодня совсем слетела с катушек. Наверно, когда тебе сделали больно, первая реакция – сделать больно еще кому-то. Во мне мало от леди, а ты леди с головы до ног.

– Ты неправа, Джин-Луиза, и слишком строга к себе, – сказала тетушка, вытирая глаза. – Но ты и впрямь иногда совершенная сумасбродка.

Джин-Луиза закрыла чемодан.

– Тетя, у тебя есть еще время считать меня леди – часов до пяти, до возвращения Аттикуса. Потом твое мнение сильно переменится. Ладно, до свиданья.

Она несла чемодан к машине, когда подъехавшее белое такси – единственное в Мейкомбе – высадило на тротуар доктора Финча.

Приходи ко мне. Когда тебе станет невыносимо – приходи ко мне. Беда в том, что я и тебя больше не выношу, дядя Джек. Мне уже поперек горла твои притчи и витиеватые словесные кружева. Оставь меня в покое. Ты милый, ты забавный, но, пожалуйста, отстань от меня.

Краем глаза она видела, как дядюшка благостно шествует к дому. Такой коротышка, а как широко шагает. Что ж, мне, наверно, будет вспоминаться и это. Она отвернулась и стала совать ключ в замок. Ключ оказался не тот, и она попробовала другой. Удачно. Крышка багажника открылась.

– Уезжаешь?

– Уезжаю.

– Далеко ли, позволь спросить?

– До станции Мейкомб-Узловая, где буду сидеть, пока не придет какой-нибудь поезд. А как придет – сяду в него и уеду. Передай Аттикусу, чтобы потом послал кого-нибудь забрать машину.

– Перестань себя жалеть и послушай меня.

– Дядя Джек, мне до тошноты опротивело слушать, тем более, что всех вас не переслушаешь. Оставьте вы меня в покое, не доводите до истерики! Неужели так трудно хоть на минуту от меня отстать?

Она хлопнула крышкой багажника, выдернула ключ и, едва выпрямилась, получила хлесткий и сильный удар ладонью по губам.

Голова мотнулась влево и встретила новую оплеуху. Джин-Луиза пошатнулась и ухватилась за машину. Вокруг лица доктора Финча замерцали крохотные огоньки.

– Я, – пояснил он, – пытаюсь привлечь твое внимание.

Она пальцами надавила на веки, виски, скулы. Изо всех сил постаралась не поддаться нахлынувшей дурноте, унять головокружение, побороть рвотный спазм. Почувствовала во рту солоноватый вкус крови и вслепую сплюнула. Постепенно смолк звон в ушах, затих гулкий колокол, гудевший в голове.

– Открой глаза, Джин-Луиза.

Она несколько раз моргнула, и размытый абрис дядюшкиного лица обрел четкость. Рукоять трости покоилась на сгибе локтя, жилет остался незапятнан, в петлице алел розовый бутон.

Доктор Финч протягивал ей носовой платок. Она взяла и вытерла губы в полнейшем изнеможении.

– Истощила душевные силы?

Она кивнула:

– Сражаться с ними больше не могу.

Доктор Финч взял ее под руку:

– И перейти на их сторону тоже не можешь?

Она чувствовала, что губы распухают, и говорила с трудом:

– Ты меня чуть в нокаут не отправил.

Дядюшка молча повел ее к дому, потом по коридору в ванную. Там посадил на край ванны, сам отошел к шкафчику с аптечкой, открыл. Надел очки, откинул голову и снял с верхней полки склянку. Оторвал клочок ваты и повернулся.

– Подставляй рожу. – Пропитав вату этой жидкостью, он оттянул ей вверх губу, рассаженную о зубы, зверски оскалился и стал промокать. – Не дай Бог, нагноится... Сандра!

Из кухни появилась тетушка.

– В чем дело, Джек? Джин-Луиза, я полагаю, ты уже...

– Это все неважно. Скажи лучше, найдется в этом доме хоть самое завалящее спиртное?

– Джек, не говори глупостей.

– Да ладно тебе. Наверняка должно быть – я знаю, ты добавляешь его в коржи. Ради бога, сестра, дай виски! А ты, Джин-Луиза, иди в гостиную.

Все еще оглушенная, она повиновалась. Пришел дядюшка – в одной руке стакан с виски на три пальца, в другой – стакан воды.

– Выпьешь залпом – получишь десять центов.

Джин-Луиза выпила и поперхнулась.

– Дурочка, дыхание удержи. Теперь запей.

Она схватила стакан и принялась торопливо глотать воду. Закрыв глаза, почувствовала, как разливается внутри теплая волна, а когда открыла, увидела дядюшку – он сидел на диване и взирал на нее безмятежно и кротко. Потом спросил:

– Как себя чувствуешь?

– Жарко мне.

– Это алкоголь. А в голове что?

– Милорд, сплошной пробел^[65], – пролепетала она.

– Обойдемся без классиков, скверная девчонка! Как себя чувствуешь, я спрашиваю?

Она сморщилась, зажмурилась и языком болезненно потыкала в губу.

– Иначе. Сижу здесь, а как будто – в моей квартире в Нью-Йорке. Сама не знаю... мне как-то не по себе.

Доктор Финч поднялся с дивана, сначала сунул руки в карманы, потом вытащил и заложил за спину.

– Хар-рашо, полагаю, теперь мне самое время выпить по такому поводу. Сегодня я впервые в жизни ударил женщину. Пойду, наверное, стукну твою тетушку – посмотрю, что будет. А ты побудь пока тут и сиди тихо.

Джин-Луиза сидела тихо, но захихикала, услышав, как в кухне доктор Финч препирается с тетушкой:

– Да, Сандра, ты не ослышалась, я собираюсь выпить. Мне остро нужно выпить. Я не каждый день бью женщин, а поверь мне, с непривычки это нелегко... Да все у нее в порядке... Нет, но я и вправду не улавливаю разницы меж виски в стакане и в кексах... Что? В ад? Да мы все там будем, кто раньше, кто позже... Ну не занудствуй ты, Сандра, я ведь еще в канаве не валяюсь... А сама не желаешь?

Ей казалось – время остановилось, а сама она оказалась в довольно уютном безвоздушном пространстве. В нем не было земли и не было живых существ, зато эта безразличная среда была проникнута каким-то смутным дружелюбием. Да я пьянею, подумала она.

Прискакал в гостиную дядюшка, посасывая из высокого стакана виски

с водой и льдом.

– Смотри, что я спроворил у Сандры! Плакали теперь ее кексы.

Джин-Луиза решила взять быка за рога:

– Дядя Джек, мне почему-то кажется – ты в курсе того, что случилось днем.

– Разумеется, в курсе. Знаю каждое слово, сказанное тобой Аттикусу, а на Генри ты орала так, что мне дома было слышно.

Вот же старый мерзавец, подумала она, он следил за мной в городе.

– Ты подслушивал?

– Да нет, конечно. Ты в состоянии сейчас это обсуждать?

Обсуждать?

– Да, наверное. Если ты будешь говорить прямо и по делу. Епископа Коленсо я сейчас не вынесу.

Доктор Финч, уютно устроившись на диване, чуть подался к ней.

– Я буду говорить без обиняков, деточка. И знаешь, почему? Потому что теперь могу.

– Что? Потому что можешь?

– Да. Могу. Вспомни, Джин-Луиза, что было вчера, вспомни кофейную церемонию утром, вспомни сегодняшний день...

– Откуда ты знаешь, что было утром?

– Ты разве не слышала о таком изобретении как телефон? Сандра с готовностью ответила на несколько резонных вопросов. Ты оповестила о своих воззрениях всю округу. И днем я пытался окольными путями помочь тебе, объяснить тебе... немного смягчить...

– Что смягчить, дядя Джек?

– Соприкосновение с реальным миром.

Он опять пососал виски, и Джин-Луиза увидела, как сверкнули его острые карие глаза. Вот это постоянно упускаешь из виду, подумала она. Он так умело сбивает тебя с толку, что ты не замечаешь, как пристально он за тобой наблюдает. Да, он не вполне нормальный, конечно, но хитер как лис... и знает больше, чем все лисы вместе взятые... Боже, я, кажется, совсем пьяная...

– Вглядишься, – говорил меж тем доктор Финч. – Ну что? Все как было?

Она вгляделась. Да, все как было. Каждое слово. Но что-то изменилось. Она поразмыслила.

– Дядя Джек, – наконец сказала она, – все осталось. Это случилось. Это произошло. Но, понимаешь, почему-то теперь это не так невыносимо. Это... это можно пережить.

Она говорила правду. Она не перенеслась в прошлое, которое все

сглаживает и всё со всем примиряет. Нет, сегодня по-прежнему сегодня, и она изумленно глядела на дядюшку.

– Слава Богу, – тихо сказал тот. – А знаешь, моя дорогая, почему можно пережить?

– Понятия не имею. Я довольствуюсь тем, что есть. Не хочу допытываться, почему это так. И спрашивать ни о чем не хочу.

Она чувствовала на себе его взгляд и склонила голову к плечу. Но доверять ему нельзя – если он опять заведет про Макворта Прейда, она еще до заката будет на станции.

– Ты и сама в конце концов сообразишь, – слышала она его голос. – Но позволь мне ускорить процесс. У тебя был трудный день. А перенести все это можно потому, что ты, Джин-Луиза, обрела самое себя.

Ага, значит, Макворта Прейда отставили, взялись за меня.

Доктор Финч вытянул ноги:

– Дело, надо сказать, непростое. И мне бы не хотелось, чтобы ты по моей вине совершила скучную ошибку и принялась гордиться своими комплексами. Ты бы изводила нас до скончания века – нашего века, разумеется, – так что давай-ка воздержимся. Каждый человек – остров, Джин-Луиза, каждый человек – сам сторож своей совести. Коллективной совести не существует.

О, это что-то новенькое. Но пусть говорит, все равно он непременно уж как-нибудь да вырулит в свой девятнадцатый век.

– ...а вы, мисс, наделенная от рождения собственной совестью, на каком-то отрезке жизненного пути натянули ее на совесть отцовскую. Ты росла и выросла, совершенно нечувствительно отождествляя своего отца с Богом. Ты никогда не видела в нем просто человека, у которого человеческое сердце и человеческие слабости – я признаю, с Аттикусом это и вправду нелегко: он почти не совершает ошибок, но «почти» не значит «совсем», он ошибается, как и всякий из нас. И ты была эмоционально уязвима, потому что во всем полагалась на него, у него получая ответы на все вопросы, полагая, будто на любой вопрос ответила бы точно так же.

Джин-Луиза слушала доносившийся с дивана голос.

– И когда ты увидела, как он совершает то, что вопиюще противоречит его – твоей – совести, ты в буквальном смысле не смогла это вынести. Тебе стало плохо физически. Жизнь для тебя стала адом на земле. Ты должна была убить себя – или он должен был тебя убить, – чтобы началось самостоятельное, независимое от него бытие.

Убить себя. Убить его. Убить его, чтобы жить...

– Ты говоришь так, словно давно все это знал. Ты...

– А я и знал. И я знал, и твой отец. Мы иногда с ним гадали, когда же твоя совесть расстанется с его совестью и из-за чего. – Доктор Финч улыбнулся. – Теперь мы знаем. И слава Богу, что я оказался рядом, когда начались ваши дебаты. Потому что Аттикус не смог бы поговорить с тобой так, как говорю я.

– Почему?

– Ты бы не стала его слушать. Ты бы не смогла его слушать. Наши боги от нас далеки, Джин-Луиза. Им негоже нисходить к нам и до нас.

– И потому он не дал мне отпор? И даже не попытался защититься?

– Он хотел, чтобы ты одного за другим разбила своих идолов. Он позволил тебе низвести его до человека.

А я вот тебя люблю. Дело твое. Схлестнувшись в споре с другом, она бы находила разящие доводы, допустила бы обмен мнениями, бескомпромиссную сшибку взглядов, но с отцом хотела только уничтожить его. Разорвать в клочья, растерзать, истребить. Чайльд-Роланд к Темной Башне пришел.

– Ты меня понимаешь, Джин-Луиза?

– Понимаю, дядя Джек.

Доктор Финч заложил ногу за ногу, а руки сунул в карманы.

– Большая отвага нужна была тебе, когда ты перестала убегать, Джин-Луиза, и обернулась.

– Прости?

– Не та отвага, которая нужна солдату, идущему по ничейной земле. Там он отважен, потому что этого требует долг. А здесь – как бы это сказать... здесь – скорее воля к жизни, инстинкт самосохранения. Иногда, чтобы выжить, надо чуточку убить, а не убьешь... вот женщины в таких случаях плачут ночами напролет, изводя своих матерей.

– Что значит «когда я перестала убегать»?

– Знаешь, – усмехнулся доктор Финч, – ты очень похожа на своего отца. Я пытался тебе объяснить и сожалею, что избрал тактику, которой позавидовал бы даже Джордж Вашингтон Хилл^[66] в лучшие свои годы... Так вот, ты очень похожа на Аттикуса с той лишь разницей, что ты – фанатик, а он – нет.

– Что-что?

Доктор Финч куснул верхнюю губу.

– Угу. То, что слышишь. Фанатик. Ну, не очень крупный... так, среднего калибра, размером примерно с репку.

Джин-Луиза поднялась, подошла к книжным шкафам. Вытянула словарь, полистала:

– «Фанатик. Существительное. Человек, категорично, упорно и нетерпимо приверженный своей религии, партии, вере или убеждениям». Прошу вас объясниться, сэр.

– Я всего лишь хотел ответить на твой вопрос про «убегала». Давай разберем это определение. Как поступает фанатик при встрече с тем, кто ему противоречит? Он не уступает. Он остается тверд. Он даже не пытается выслушать оппонента – он сразу кидается на него. Вот и ты, вывернутая наизнанку проблемой даже не отцов, а праотцев и детей, убегаешь. Просто-таки улепетываешь... Наверняка за те дни, что живешь дома, ты слыхала чрезвычайно оскорбительные вещи, но вместо того, чтобы очертя голову кинуться в атаку, ты пускаешься в бегство. Приговаривая, по сути: «Мне не нравится, как живут эти люди, я не стану терять на них время». А ты бы лучше выкроила для них время, деточка, ибо иначе ты никогда не повзрослеешь. В шестьдесят останешься такой же, как сейчас, а тогда будешь уже клинический случай, а не моя племянница. Ты вообще отнюдь не склонна пускать чужие идеи в сознание, сколь бы глупыми они тебе ни казались.

Доктор Финч сцепил руки в замок и закинул их за голову:

– Пойми, деточка, люди могут не соглашаться с ку-клукс-клановцами, но даже не пытаются воспрепятствовать тому, чтобы те напяливали свои простыни и выставляли себя на всеобщее посмешище.

Зачем вы пустили мистера О'Хэнлона? Он изъявил желание. Боже мой, что я натворила?

– Но они избивают людей на улицах.

– Это другое дело – и вот этого ты тоже не учла. Ты сильнохватила через край, рассуждая о деспотизме, Гитлере, кольцехвостых гадинах... да, кстати, откуда ты их выкопала? Напомнило мне студеную зимнюю ночь, охоту на опоссумов...

Джин-Луиза поморщилась:

– Аттикус тебе рассказал все?

– Да, но можешь не каяться по поводу того, как ты его обозвала. У него дубленая адвокатская шкура – он и не такое слышал.

– Все же не от родной дочери.

– Так вернемся к сути.

К сути дядюшка возвращался впервые на ее памяти. И второй раз в жизни она видела, чтобы дядюшка вышел из роли: в первый раз, еще в старом доме, он молча сидел в гостиной, слушая уютное журчание разговоров о том, что Господь каждому дает ношу по силам, а потом вдруг сказал: «От моей плечи ломит нестерпимо. Есть в этом доме виски?»

Сегодня просто день чудесных открытий.

– ...Клан может маршировать по улицам сколько угодно, но если начнутся взрывы и избиения, кто первым попытается его остановить? Знаешь?

– Знаю.

– Он живет законом. Он сделает все, что в его силах, дабы одни не избивали других, а потом обернется и выступит аж против федерального правительства – в точности как ты, дитя мое. Ты ведь тоже обернулась и вступила в схватку не с кем-нибудь, а со своим кумиром. Разница меж вами лишь в том – запомни, – что он действует в соответствии с духом и буквой закона. На этих началах выстроено его бытие.

– Дядя Джек...

– Вот только не казись. Ты не сделала ничего дурного. И еще, во имя Джона Генри Ньюмена^[67], не огорчайся, что ты такой фанатик. Я же сказал – ты фанатик некрупный, не больше репки.

– Дядя...

– И еще запомни: очень просто оглянуться и увидеть, какими были мы вчера или десять лет назад. Куда трудней увидеть, кто мы сейчас. Если этот трюк тебе удастся, ты справишься.

– Дядя Джек, я была уверена, что лишилась любых иллюзий насчет родителей еще в бакалавриате, но что-то...

Доктор Финч зашарил по карманам. Потом нашел, что искал, вытянул одну из пачки и спросил:

– Спички есть?

Джин-Луиза потеряла дар речи.

– Я спрашиваю – спички есть?

– Да ты рехнулся, что ли? Ты ведь однажды поколотил меня за такое... Старый негодяй!

Он и в самом деле однажды в сочельник поступил с ней весьма бесцеремонно, накрыв ее в укромном месте с уворованными сигаретами.

– Это должно навести тебя на мысль о том, что мир устроен несправедливо. Да, я теперь иногда покуриваю. Единственная моя уступка старости. Мне временами бывает не по себе, тревожно... а так есть чем занять руки.

Джин-Луиза отыскала упаковку спичек на столике возле своего кресла. Чиркнула и поднесла дядюшке огонек. Есть чем занять руки, подумала она. И представила, сколько раз его всемогущие и бесстрастные руки в резиновых перчатках спасали детей. Да, он с большим приветом, что с него взять.

Доктор Финч держал сигарету тремя пальцами и посматривал на нее задумчиво.

– Ты не различаешь цвета, Джин-Луиза, – сказал он. – Ты всегда такой была, такой и останешься. Для тебя разница между людьми заключается лишь в убеждениях, остроте ума, в характере и тому подобном. Тебе не приходилось смотреть на людей как на расу, а раса в наши дни – самая что ни на есть животрепещущая тема. Но ты и сейчас не способна мыслить расово. Ты видишь только людей.

– Но я, дядюшка, вовсе не собираюсь устраивать эскапады и, например, выходить замуж за негра.

– Знаешь ли, за почти двадцать лет практики я, боюсь, людей видел в основном более или менее страдающих. Но все же рискну сделать одно обобщение. Ничего нет под солнцем такого, что провозвестило бы, что если в классе твоём один чернокожий или если в школе твоей их целая орава, ты выйдешь замуж за кого-нибудь из них. А это ведь один из тех тамтамов, в которые стучат проповедники превосходства белой расы. Много ли смешанных браков ты видела в Нью-Йорке?

– Да, пожалуй, мало. Относительно мало, верней сказать.

– Вот и ответ. Расисты – люди смышленные. Раз не удастся напугать нас негритянской неполноценностью, значит, следует обвернуть ее в ядовитый туманец дурной сексуальности – потому что это единственное, что внушает страх нам, здешним людям, тяготеющим к традиционным ценностям. А расисты пытаются ужаснуть южных матерей, обещая, что их дочери влюбятся в чернокожих. Если б расисты не поднимали этот вопрос, едва ли он возник бы сам по себе. А если бы возник, рассматривался бы частным манером.

Ассоциация тут тоже руку приложила. Но расисты опасаются рациональных доводов, потому что логика неизменно их побивает. У гадкого слова «предрассудок» и чистого слова «вера» много общего – и то, и другое берет начало там, где заканчивается разум.

– Странно, да?

– Одна из многих странностей нашего мира. – С этими словами доктор Финч поднялся с дивана и раздавил сигарету в пепельнице на столе. – Ну вот что, мисс, доставьте-ка меня домой. Уже почти пять. И тебе скоро ехать за отцом.

Джин-Луиза вернулась к действительности:

– Что? Ехать за Аттикусом?! Я больше не смогу взглянуть ему в глаза!

– Послушай меня, девочка. Пора тебе стряхнуть с себя двадцатилетнюю привычку и сделать это поскорее. Начни немедленно. Ты

что думаешь – Аттикус поразит тебя громом?

– После того, что я ему наговорила? После...

Доктор Финч стукнул об пол тростью.

– Джин-Луиза, ты вообще знакома со своим отцом?

Нет. Не знакома, подумала она в ужасе.

– Я полагаю, тебя ждет сюрприз.

– Дядя Джек, я не могу.

– Не смей говорить мне это, дрянь такая! Еще раз услышу – взгрею тебя вот этой самой тростью! Я не шучу!

Они пошли к машине.

– Не хочешь вернуться домой?

– Домой?

– Ты меня очень обяжешь, если перестанешь повторять за мной как попугай последнюю фразу или слово. Да, домой, домой!

Джин-Луиза ухмыльнулась, узнав прежнего доктора Финча.

– Не думала об этом.

– Опасаюсь, конечно, перегрузить твой мозг, но все же ты возьми да подумай. Ты, может быть, не в курсе дела, но место твое – здесь.

– Ты хочешь сказать – я нужна Аттикусу?

– Не вполне так. Я думал о Мейкомбе вообще.

– Да уж, это будет дивно: я – по одну сторону, все остальные – по другую. Если здешняя жизнь – это бесконечный поток вздора, вот как сегодня утром, она мне, боюсь, не вполне подходит.

– Вот чего ты не заметила у нас на Юге. Ты ахнешь, узнав, сколько народу на твоей стороне, если слово «сторона» здесь употребимо. Твой случай, Джин-Луиза, вовсе не уникален. В лесах очень много тебе подобных, но нам нужно больше тебя.

Она завела машину и задним ходом двинулась.

– А я-то что могу сделать? Воевать с ними? Нет во мне больше боевого задора...

– Я не сказал «воевать». Я имел в виду – утром уходить на работу, вечером возвращаться домой, встречаться с друзьями.

– Дядя Джек, мне трудно жить там, где мне все против шерсти и где всем против шерсти я.

– Хм, – отвечивал доктор Финч. – Мельбурн как-то сказал, что...

– Если ты не прекратишь рассказывать, что сказал Мельбурн, я остановлю машину и высажу тебя прямо здесь! А пешочком ходить ты не любишь. Это не то, что до церкви и обратно, а потом выгулять кошку во дворе. Высажу – будь уверен!

Доктор Финч вздохнул:

– Я дряхл и немощен, а ты сильна и воинственна... Желаеть и дальше коснеть во мраке – что же, твоя воля...

– Ага, дряхл и немощен! Вроде крокодила! – И Джин-Луиза пощупала губу.

– Хорошо, если ты не позволяешь мне привести уместную цитату из Мельбурна, я скажу своими словами: друзья нуждаются в тебе, когда ошибаются, Джин-Луиза. Когда они правы, ты им ни к чему.

– В смысле?

– В смысле, для того, чтобы жить сейчас на Юге, требуется известная душевная зрелость. У тебя ее еще нет, но уже появился намек на ее зарождение. У тебя отсутствует то, что именуется «смиренномудрием»...

– Я-то считала, что богобоязненность – это предтеча мудрости.

– Это одно и то же. Смирение.

Они уже подъехали к дому доктора Финча, и Джин-Луиза остановила машину.

– Дядя Джек, – сказала она. – А как мне быть с Хэнком?

– Никак. Не быть с Хэнком.

– То есть сказать ему «давай останемся друзьями»?

– Угу.

– Почему?

– Потому что он не твоей породы.

Люби кого хочешь, но замуж выходи за своего.

– Слушай, я не собираюсь спорить с тобой об относительных достоинствах швали...

– Речь не об этом... И вообще я устал от тебя. И мне пора ужинать.

Он слегка ущипнул ее за подбородок.

– Будьте здоровы, мисс.

– Почему ты сегодня так со мной возишься? Я ведь знаю – ты терпеть не можешь выбираться из дому.

– Потому что ты – мое дитя. И ты, и Джим – мои дети, которых у меня никогда не было. Вы оба что-то подарили мне много лет назад, и я пытаюсь отдать долг. Вы оба помогли мне...

– Да чем же?

Доктор Финч вздернул брови:

– Разве ты не знаешь? Неужели Аттикус так и не собрался поведать? И что самое поразительное – Сандра тоже... Боже, я был уверен, что весь Мейкомб знает.

– Да что? Что знает?

– Что я любил твою маму.
– Маму?
– Да. Когда Аттикус женился на ней, я как раз приехал на Рождество из Нэшвилла... Ну и влюбился без памяти. Да я и сейчас... Ты не знала?
Джин-Луиза опустила голову на рулевое колесо.
– Дядя Джек, мне так стыдно за себя... так стыдно... Орала тут как... Я просто убить себя готова.
– Я бы на твоём месте воздержался. Хватит на сегодня моральных самоубийств.
– И все это время ты...
– Ну да, деточка, выходит, что так.
– А отец знает?
– Разумеется.
– Дядя Джек, я чувствую себя таким ничтожеством...
– Ну, *это* в мои намерения не входило. И потом... ты ведь не одна. Ничего из ряда вон выходящего с тобой не приключилось. А теперь поезжай за Аттикусом.
– И ты вот так запросто об этом говоришь?
– Угу. Запросто. Я ведь сказал: и ты и Джим занимали особое место в моей жизни. Вы – мои дети-грезы, но, как сказал Киплинг, это уже другая история... Позвони мне завтра – и отвечу тоном замогильным^[68].
Джин-Луиза не знала другого человека, который мог соединить в одной фразе три парафраза, чтоб они не потеряли смысл.
– Спасибо, дядя Джек.
– Тебе спасибо, Глазастик.
Доктор Финч вышел из машины и прихлопнул дверцу. Потом просунул голову в окно, поднял брови и продекламировал:

Я была и сумасбродкой – все бывало в жизни
длинной, —

Но сносила очень кротко приступы хандры и сплина^[69].

Она уже отъехала и тут вдруг вспомнила. Затормозила, высунулась из окна и издали крикнула в ту сторону где стояла щуплая фигурка:

– И танцы наши были страсть невинны, а, дядя Джек?

Она вошла в приемную. Направилась к Генри, еще сидевшему за своим столом.

– Хэнк?

– Привет, – сказал он.

– В семь тридцать, как всегда? – спросила она.

– Да.

Они договаривались о прощальном свидании, а волна откатывала и возвращалась, и Джин-Луиза бежала ей навстречу. Генри был такая же часть ее бытия, как «Пристань Финча», как Конингемы и Старый Сарэм. Округ Мейкомб и город Мейкомб научили его такому, чего она сроду не знала и знать не могла, и тот же самый Мейкомб сделал так, что теперь она способна быть Генри только самым старым другом – и никем иным.

– Это ты, Джин-Луиза?

От голоса Аттикуса она вздрогнула.

– Я.

Отец вышел из кабинета в приемную и снял с вешалки шляпу и трость.

– Готова?

Готова. Как ты можешь спрашивать: «Готова?» Кто ты, кого я попыталась убить и в землю зарыть, а ты спрашиваешь, готова ли я? Я не могу тебя одолеть, я не могу примкнуть к тебе. Ты что, не понимаешь?

– Аттикус, – сказала она, подойдя ближе. Мне...

– Ты, наверно, хочешь сказать, что тебе стыдно, а я вот тобой горжусь.

Она подняла глаза и увидела, что отец сияет.

– Что?

– Я сказал, что горжусь тобой.

– Я тебя не понимаю. Я не понимаю людей и, наверно, никогда не пойму.

– Ну, знаешь ли, я всегда надеялся, что моя дочь будет неуступчиво и твердо отстаивать то, что считает верным. Не дрогнет и не спасует – в первую очередь передо мной.

Джин-Луиза потерла нос:

– Я тебе наговорила всякого, обозвала...

– Всякий может обзывать меня как угодно, коль скоро это неправда. А ты и обругать-то даже не умеешь. Где ты, кстати, выкопала этих

кольцехвостых тварей?

– Да здесь же, в Мейкомбе.

– Боже-боже, сколько нового ты узнала...

Боже-боже, сколько я узнала... Я не хотела, чтобы мой мир был потревожен, но хотела уничтожить того, кто пытается сохранить его для меня в неприкосновенности. Я хотела растоптать всех ему подобных. Мне кажется, это как самолет – они сопротивление, мы тяга, и вместе мы поднимаем его в воздух. Слишком много таких, как мы, – самолет заваливается на нос, слишком много таких, как они, – оседает на хвост. Весь вопрос в равновесии. Я не могу одолеть его, я не могу примкнуть к нему...

– Аттикус?

– Слушаю вас, мисс.

– Мне кажется, я очень тебя люблю.

Она увидела, как обмякли плечи ее исконного врага, посмотрела, как он сдвигает шляпу на затылок.

– Поехали домой, Глазастик. День был длинный. Открой мне дверь.

Она посторонилась, давая ему пройти. Следом за ним дошла до машины и поглядела, как он с трудом втискивается на переднее сиденье. Безмолвно приветствуя его возвращение к роду человеческому, вздрогнула от внезапного постижения, как от острой боли. Кто-то прошел по моей могиле, подумалось ей, – может, Джим, посланный с каким-то идиотским заданием.

Она обошла машину, проскользнула за руль и на сей раз была осторожна и не стукнулась головой.

notes

Примечания

1

Героиня путает произведения трех разных авторов: стихотворение «Песня реки Чаттахучи» (Song of Chattahoochie, 1877) американского поэта и музыканта Сидни Клоптона Ланира (1842–1881) со вступлением к «Песням невинности» (Songs of Innocence, 1789) английского поэта Уильяма Блейка (1757–1827), а стихотворение «К водоплавающим» (To a Waterfowl, 1818) американского журналиста и поэта-романтика Уильяма Каллена Брайанта (1794–1878) – с ранним рассказом Ланира «Три водопада» (Three Waterfalls, 1867). – *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Алджернон Чарлз Суинберн (1837–1909) – английский викторианский поэт.

3

Альберт Швейцер (1875–1965) – выдающийся гуманист, богослов, врач, музыкант и музыковед; защитил диссертацию по философии, изучал теорию музыки и играл на фортепиано и органе, а затем в 1905 г. решил посвятить жизнь медицине и поступил на медицинский факультет.

4

Элджер Хисс (1904–1996) – американский дипломат, сотрудник Госдепартамента, один из создателей ООН, в 1948 г. обвиненный в шпионаже в пользу СССР. Его дважды судили и в 1950 г. приговорили к 5 годам тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний. Через две недели после оглашения приговора с диатрибой против коммунистов в Госдепе выступил сенатор Джозеф Маккарти, с чего и началась его краткая, но блистательная карьера охотника за коммунистами. Впоследствии были преданы гласности советские, американские и другие документы, более или менее прямо намекавшие на виновность Хисса, однако Хисс до конца жизни отрицал свою причастность к шпионажу. Книгу «Странное дело Элджера Хисса» (The Strange Case of Alger Hiss, 1953) написал Уильям Аллен Джоитт (1885–1957), британский юрист и политик-лейборист.

5

Свой первый исторический роман «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» (*Waverley; or Tis Sixty Years Since*, 1814) Вальтер Скотт (1771–1832) опубликовал анонимно; в последующих его произведениях на исторические темы (1815–1831) указывалось, что они написаны автором «Уэверли».

6

Очевидно, речь идет о деле Розы Паркс, чернокожей жительницы Монтгомери, которая 1 декабря 1955 г. была задержана и затем оштрафована за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру, как от нее требовалось по местному закону. Это привело к бойкоту негритянской общиной городского транспорта.

7

Очевидно, имеется в виду дело об убийстве двумя белыми чернокожего подростка Эмметта Тилла в штате Миссисипи; в сентябре 1955 г. обвиняемых Роя Брайанта и Дж. У. Майлама оправдали, несмотря на веские доказательства в пользу их вины.

8

Джордж Эдвард Пикетт (1825–1875) – генерал армии Конфедерации. 3 июля 1863 г. при Геттисберге по приказу генерала Роберта Э. Ли и вопреки неутешительным прогнозам атаковал наиболее укрепленные центральные позиции северян – атака окончилась провалом, из 15 тысяч южане потеряли 6,5 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

9

Имеется в виду Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, с 1909), проводившая активную кампанию против расовой сегрегации, в результате чего в 1954 г. Верховный суд США объявил сегрегацию незаконной, а в 1964 г. Конгресс принял закон о гражданских правах.

10

В силу самого факта (*лат.*).

11

Реплика Судьи из комической оперы «Суд присяжных» (Trial by Jury 1875) У. Ш. Гилберта и Артура Салливана, пер. Ю. Димитрина.

12

Пс. 120:4.

Асквит Герберт Генри, граф Оксфорд и Асквит (1852–1928) – премьер-министр Великобритании (1908–1916) от Либеральной партии; в мирный период пребывания на посту выказывал талант решать возникающие проблемы бесконфликтно, в военные годы был склонен к нерешительности.

Уильям Блейк, «Маленький трубочист» (из сб. «Песни невинности»),
пер. С. Степанова.

Имеется в виду английский прецедент «Армори против Деламери» (1722): мальчик-трубочист Армори принес ювелиру Деламери для оценки найденную в трубе серебряную брошь с драгоценными камнями, а ювелир не захотел ее возвращать. Суд постановил, что, поскольку мальчик нашел брошь первым, у него больше прав на нее, чем у всех прочих, за исключением первоначального законного владельца.

Джон Мак Браун (1904–1974) – американский футболист и киноактер, сыграл в десятках вестернов.

Том Свифт – главный герой серии приключенческих и научно-фантастических романов, создаваемых группой анонимных авторов под псевдонимом Виктор Эплтон с 1910 г.

18

По Фаренгейту; ок. 33 °C.

19

Пс. 1:1.

Джефферсон Финне Дэвис (1808–1889) – американский военный и политический деятель, сторонник рабовладения, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США, знаменитый оратор.

Джеральд О'Хара – персонаж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», типичный представитель южной аристократии.

Трехстишие из поэмы английского поэта и эссеиста Мэттью Арнольда (1822–1888) «Погребенная жизнь» (The Buried Life, 1852).

«Довод не нужен» (The Reason Why, 1953) – исследование британского историка и публициста Сэсила Вудэм-Смита (1896–1977), посвященное эпизоду Крымской войны, героической и трагической атаке английской легкой бригады; в названии использована строка из стихотворения «Атака легкой кавалерии» (The Charge of the Light Brigade, 1854) Альфреда Теннисона, пер. Ю. Колкера.

Уинтроп Макуорт Прейд (1802–1839) – английский политик и поэт, известный остроумец и обличитель пороков общества.

Джон Бродес Уотсон (1878–1958) – американский психолог, основатель бихевиоризма.

«Журнал АМА» (Journal of the American Medical Association, с 1883) – печатный орган Американской медицинской ассоциации.

Одаривание преподобного – существовавший в некоторых штатах обычай посещать нового пресвитера, знакомясь с ним и преподнося ему по фунту масла, меда, кофе и т. п.

Полностью эта формула, принадлежащая английскому священнику и литератору, известному остроумцу Уильяму Уорбертону (1698–1779), звучит так: «Ортодоксия – моя девка, гетеродоксия – чужая».

Фанни Кросби (Фрэнсес Джейн ван Элстайн, 1820–1915) – американская поэтесса, плодовитый автор религиозных гимнов.

«Твердыня вечная» (Rock of Ages, 1763) – известный христианский гимн англиканского священника Огастеса Монтегю Топлейди.

«Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал» (When I Survey the Wondrous Cross, 1707) – гимн английского теолога Айзека Уоттса. «Вперед, солдаты Христа» (Onward, Christian Soldiers, 1865, 1871) – гимн Артура Салливана (сотрудничавшего с У. Ш. Гилбертом) на стихи Сабини Баринг-Гулд.

Теобальд Понтифекс – священник, персонаж романа классика викторианской литературы Сэмюэла Батлера (1835–1902) «Путь всякой плоти» (*The Way of All Flesh*, 1873–1884, опубл. 1903).

Цитата из комической оперы «Микадо» (The Mikado; or, The Town of Titipu, 1885) Гилберта и Салливана, пер. Г. Бена.

В апреле 1867 г. Конгресс Ку-клукс-клана, выработавший структуру организации, объявил ККК «Невидимой Империей», которая управляется «великим магом» и подобием штаба, состоявшим из 10 «мудрецов».

Имеется в виду 17 мая 1954 г., когда Верховный суд США вынес решение по делу «Браун против Совета по образованию» и объявил сегрегацию нарушением Конституции.

Хьюи Лонг (1893–1935) – политический деятель популистского толка, демократ, губернатор Луизианы (1928–1932) и сенатор, погиб в результате покушения за год до президентских выборов, на которых собирался баллотироваться.

«Подлинные детективные тайны» (True Detective Mysteries, 1924–1995) – американский журнал о реальных преступлениях и преступниках, до 1971 г. выпускавшийся издательством Macfadden Publications.

«Сокровищница английских песен и стихов» (Golden Treasury of English Songs and Lyrics, 1861) – популярная антология английской поэзии, составленная Фрэнсисом Тёрнером Пэлгрейвом; состав антологии неоднократно пересматривался.

«Демоны, снадобья и доктора» (Devils, Drugs and Doctors, 1929) – иллюстрированный труд Хауарда У. Хаггарда по истории медицины, где рассматривается история развития родовспоможения, обезболивания, анестезии, хирургии и терапии.

Мистер Бёрджесс – персонаж пьесы Бернарда Шоу «Кандида» (Candida, 1898), действие второе, пер. С. Боброва и М. Богословской.

Аллюзия на сказку английского писателя Кеннета Грэма (1859–1932) «Ветер в ивах» (The Wind in The Willows, 1908).

42

Джаг – музыкальный инструмент западноафриканского происхождения, глиняный сосуд с узким горлышком.

«Старина Дэн Такер» (Old Dan Tucker) – американская народная песня про бродягу и дебошира, с середины XIX в. исполнявшаяся «шоу менестрелей» (белыми, загримированными под чернокожих).

Лоренс Уэлк (1903–1992) – американский аккордеонист, руководитель оркестра и телеперсона, ведущий The Lawrence Welk Show (1951–1982).

Под предводительством Ната Тёрнера (1800–1831) 21 августа 1831 г. в округе Саутгемптон, штат Вирджиния, случилось одно из крупнейших в истории США восстаний рабов, в результате которого погибли около сотни чернокожих и 60 белых.

Пародия на телеграмму с известием о победе, отправленную в 1870 г. прусским королем Вильгельмом своей жене Августе; была опубликована в английском сатирическом журнале Punch.

Имеется в виду история Атрии Хуаниты Люси (р. 1929) – первой афроамериканки, в результате напряженных усилий и судебных разбирательств добившейся права получить второе высшее образование в университете Алабамы. Конвокация – ученый совет университета, на определенном этапе дела высказавшийся в поддержку Люси. На шинном заводе работали сторонники сегрегации, которые пикетировали университет и нападали на активистов Ассоциации, однако тон в этих протестных акциях задавали представители белых студенческих братств.

Daily Worker (1924–1956) – печатный орган компартии США.

«Латинский квартал» (с 1942) и «Копакабана» (с 1940) – нью-йоркские ночные клубы. «Пижамная игра» (The Pajama Game, 1954) – мюзикл по роману «71/2 центов» (71/2 Cents, 1953) Ричарда Бисселла; действие происходит на пижамной фабрике, где рабочие требуют улучшения условий труда.

«Радио-Сити» (Radio City Music Hall, с 1932) – театрально-концертный зал в Нью-Йорке, часть Рокфеллеровского центра.

Пародируется песня «Грязный буги» (Dirty Boogie, 1949) музыканта Роя Холла.

Здесь – логическая ошибка (*лат.*).

Гарриет Мартино (1802–1876) – английский экономист, писательница, первая женщина-социолог.

Леди Каролина Лэм (1785–1828) – британская аристократка и писательница, известна своим романом с лордом Байроном в 1812 году.

Семейство Хэмптонов, несколько поколений политиков и плантаторов, на протяжении XIX в. пользовалось большим влиянием в Южной Каролине; Уэйд Хэмптон III (1818–1902) был генерал-лейтенантом армии южан, командующим кавалерией, а впоследствии – видным деятелем Демократической партии.

Реконструкция Юга – процесс реинтеграции южных штатов в США в процессе и после Гражданской войны в 1863–1877 гг. и связанная с этим реорганизация власти штатов и отмена рабства.

Возникшая в штатах Джорджия и Северная Каролина агропромышленная зона, где было сосредоточено производство табака.

«Чайльд-Роланд к Темной Башне пришел» (Childe Roland to the Dark Tower Came, 1855) – поэма английского поэта Роберта Браунинга.

«Малыми пророками» называют книги двенадцати библейских пророков – Осии, Иоила, Амоса, Авдия, Ионы, Михея и т. д.

Текст принятой в 1789 г. 10-й поправки к Конституции США гласит: «Полномочия, которые Конституция не относит к ведению Соединенных Штатов и не запрещает штатам, сохраняются за штатами».

Актерская студия (с 1947) – нью-йоркский экспериментальный театр-студия, основанный с целью постановки спектаклей по системе Станиславского; в 1951–1982 гг. студией руководил Ли Страсберг.

Оуэн Робертс (1875–1955) – один из «девяти стариков», членов Верховного суда. В 1937 г., при рассмотрении в Верховном суде вопроса о конституционности минимальной заработной платы, Робертс отдал решающий голос за ее конституционность. Это, с одной стороны, помешало президенту США Франклину Делано Рузвельту провести через Конгресс закон, который позволил бы ему назначать в Верховный суд дополнительных судей (что требовалось Рузвельту для получения одобрения законов «нового курса»), а с другой – стало завершением 40-летнего периода, когда Верховный суд систематически не признавал конституционными попытки государства регулировать бизнес.

По легенде, так в 1897 г. американский медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст (1863–1951) ответил художнику Фредерику Ремингтону (1861–1909), работавшему в тот период на New York Journal, на телеграмму с Кубы: «Войны не будет».

В декабре 1952 г. Министерство юстиции подало в Верховный суд свое заключение по делу «Браун против Совета по образованию», в котором подчеркивало, что существование сегрегации сильно подрывает позиции США на международной арене.

Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь», акт II, сцена 4, пер. Д. Самойлова.

Джордж Вашингтон Хилл (1884–1946) – президент корпорации «Американ Тобакко»; имеется в виду новаторская и агрессивная реклама ее табачной продукции, до того на рынке немыслимая – к примеру, направленная на женщин.

Джон Генри Ньюмен (1801–1890), известный также как кардинал Ньюмен и блаженный Джон Генри Ньюмен – центральная фигура в религиозной жизни Великобритании викторианского периода.

Доктор Финч упоминает эссе Чарльза Лэма (1775–1834) «Мои дети. Греза» (Dream-Children; A Reverie) из сборника «Очерки Элии» (Essays of Elia, 1823), пер. А. Бобовича; цитирует фразу, фигурирующую в ряде рассказов Редьярда Киплинга, а также переиначивает реплику Меркуцио из «Ромео и Джульетты», акт III, сцена 1, пер. О. Сороки.

Здесь и ниже цитируется комическая опера Гилберта и Салливана «Руддигор, или Ведьмовское проклятие» (Ruddigore, or The Witch's Curse, 1887).

Table of Contents

[Харпер Ли Пойди поставь сторожа](#)

[Часть I](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[Часть II](#)

[4](#)

[5](#)

[Часть III](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[Часть IV](#)

[11](#)

[12](#)

[Часть V](#)

[13](#)

[14](#)

[Часть VI](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[Часть VII](#)

[18](#)

[19](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)
[9](#)
[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)

[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)